

---

---

Ефим ГАММЕР

# ГОЛОСА ПУСТЫНИ

## Роман ассоциаций

### 1

Хоронили Трайгера...

На Иерусалимском кладбище хоронили тихого человека Трайгера. Хоронили без шума и занудных речей. Опустили в холодную яму, засыпали каменистой землей и молча, думая о преждевременной смерти, окружили могильный холмик — в ожидании напутственной молитвы.

Тихий человек Трайгер, приштопанный к захудалой действительности и предынфарктной старости, жил в скверном одиночестве. А умер, как жил...

Его зарыли в шар земной, согласно традиции — до заката, чтобы с наступлением ночи, а по-еврейски — дня он уже свиделся с Господом своим, в которого не верил. Зарыв, стали глухо перебирать в уме, кому принять роль близкого родственника, чтобы рвать на себе одежду. Старички — древние тугодумы! Никакой реакции в столь ответственный момент встречи земной души с ее небесным Создателем! Вот и пришлось Николаю Вербовскому, стороннему наблюдателю похоронного ритуала, но частому в последнее время посетителю кладбища, подключиться к проводам тихого человека Трайгера на тот свет. Взяв у раввина острый японский ножичек для резки бумаги, он самостоятельно, хорошо уже знакомый с таинствами процедуры, вспорол на своей черной, подходящей к случаю рубашке петельку для приема пуговиц. И тем вызвал одобрителный перешлеп губ у пенсионной команды, состоящей из пасмурных тихоходов с блескучей слезой.

Николай кинул горсть земли в могилу, на зацементированные камни. Подумалось: дать бы салют. Любой еврей, умирающий в восьмидесятих своей смертью, причем в столь преклонном возрасте, заслуживает подобной почести. Но винтовку свою он оставил на Второй мировой, а американский автомат М-16, полагающийся ему при журналистских командировках в Ливан, на театр военных действий, — в багажнике машины.

Из задумчивости Николая вывела хрустящая галька. Расходятся, понял он. Быстро это у нас оформляется, никаких поминок.

Участники скорбной процессии, бормоча, а кое-кто и попыхивая сигареткой, невнятно шелестели к далеким кладбищенским воротам.

---

Ефим Аронович Гаммер родился в 1945 году в Оренбурге, окончил отделение журналистики ЛГУ в Риге, автор 25 книг стихов, прозы, очерков, эссе, лауреат ряда международных премий по литературе, журналистике и изобразительному искусству. Печатается в журналах России, США, Израиля, Германии, Франции, Бельгии, Канады, Латвии, Дании, Финляндии, Украины «Литературный Иерусалим», «Арион», «Нева», «Дружба народов», «Кольцо А», «Дети Ра», «Урал», «Человек на Земле», «Сибирские огни», «Сура» и других. Живет в Иерусалиме.

Внезапно он ощутил, что кто-то прилип к его локтю. «Дерг-дерг!» — чужие пальцы вытягивают его из трясины задумчивости.

— Вам чего?

Самый бравый на вид старичок, вернее, полустаричок: жилистый, крепенький, в при- таленной рубашке, с ермолкой-кипой и характерным, немного помятым на ринге носом, дергал его за рукав пиджака.

— Он вам кем-то приходится, наш Муся?

— Никем он мне не приходится!

— Зачем же вы тогда?

— Просто больно за человека. Жил-жил и умер.

— Не изволите знать — умер! — обидчиво произнес полустаричок.

— Бросьте, дядя!

— Трайгер еще живее других живых...

— Что вы имеете в виду?

Полустаричок долго смотрел на Николая, словно имел свойство впитывать в себя взглядом.

— Трайгер... — повторил осторожно, шире обычного раскрывая рот, чтобы не шам- кать. — Трайгер... как это сегодня, если правильно говорить по-русски? Вы про Крас- ную капеллу слышали?

— Красный оркестр?

— Можно и так.

— Слышал. У нас на «Голосе Израиля», где я имею честь служить, недавно переда- вали о нем.

— Трайгера поименно, понятно, не назвали, время еще не пришло разоблачаться. А о Треппере упомянули?

— Как же без него?

— Без него никак! Без его разведсети не было бы победы ни в Сталинградской бит- ве, ни на Курской дуге.

— А мой тезка Николай Кузнецов?

— Не знаю про Кузнецова. Знаю про Треппера. Пора уже читать на иврите, еще мо- лодой человек! А там пишут: ключевую роль в разгроме немцев сыграли его донесения. Вот я и интересуюсь, передавали вы за это?

— Дядя, мы же — еврейское радио!

— Не еврейское, а израильское! Ну, передавали?

— Передавали, что после отсидки в советском лагере Треппер жил в Польше, потом выбрался в Израиль и недавно здесь умер.

— Опять — умер... На кладбище все же находимся, молодой человек.

— Какой я вам молодой человек?

— Обычный, — вздохнул полустаричок. — Обгоняете события, будто вам все вре- мя некогда.

— Смерть приходит — ты уходишь, — усмехнулся Николай.

Полустаричок не заметил усмешки. Отреагировал только на слова, да и то боль- ше из желания потянуть время за его резиновый нерв. Торопиться ему было некуда. Разве что на тот свет, куда суются, не подумав, разве что в юности.

— Ерничаете? Сядем, а? Посидим — вспомним... — Полустаричок подстелил под се- бя газету. — У меня есть еще и для вас, — сказал, превратно истолковав движение руки Николая, машинально выброшенной на перехват газетных страниц.

— Мне не надо! Я на камушках, — буркнул Николай. Не докладывать же полуста- ричку, что своим тощим задом он искрошит о гальку отрывок из его романа «Мы бы-

ли такими, какими были», который с продолжением печатался в единственной ежедневной русскоязычной газете Израиля «Наша страна».

— Так вы, значит, соизволили на кладбище говорить о смерти? — полувопросительно начал полустаричок.

— Лучше бы, конечно, о жизни. Но язык не поворачивается... здесь.

— А переверните язык на иностранный лад. И получится.

— Что?

— А вот что! По-немецки шпрехаєте?

— По образованию — учитель, и как раз по шпреханью.

— Тогда послушайте, в соответствии с образованием. Лермонтов на немецком.

В оригинальной упаковке.

— Сосна? — догадался Николай.

— Сосна. Автор оригинала?

— Генрих Гейне.

— Пятерка за любознательность, учитель!

— Давно уже журналист-писатель...

— Не будьте торопыгой! Слушаем?

— Весь внимания.

Полустаричок, менее всего напоминающий внешностью интеллектуала и полиглотта, повел по памяти, с чистым берлинским выговором:

— Ein Fichtenbaum. Сосна.

На севере диком стоит одиноко  
На голой вершине сосна  
И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим  
Одета, как ризой, она.

И снится ей все, что в пустыне далекой,  
В том крае, где солнца восход,  
Одна и грустна на утесе горячем  
Прекрасная пальма растет.

— Bravo! — с некоторой иронией, но и с заметным удивлением поаплодировал Николай престарелому чтецу-декламатору. — Где учились?

— Мои университеты, из той же породы, что и у Горького.

— Самоучка?

— Не пришло еще время говорить за мое образование.

— Как с Трайгером?

— Как с Трайгером, так и со мной. А со мной, как и с Лепой Треппером.

— Из одной школы, так сказать?

— Правильнее сказать, из одной капеллы.

— На чем вы играли, дядя?

— На фашистах! Но правильнее сказать, не «на чем», а «против кого», еще молодой человек.

— Выходит, и вы личность?

— Личность? А вся наличность от личности — вот она, присыпочка. — В кулаке у полустаричка захрумкили мелкие камушки. В горле его захлюпало. Выцветший зрачок замер. По красным прожилкам в уголок глаза покатила слеза.

Если глаза — зеркала души, то слеза...

Было в ней что-то. Будто тени метались. Будто живое билось с неживым. Глухо, беззвучно, напрасно.

Состояние — как со сна: зачумленность, слабость мышления, а дыхание парное, прогретое внутренним теплом, скопленным за ночь. И натекает лень. Гипнотическая, что ли? Двинуться лень. Психануть лень. И проснуться тоже лень. Внимай полустаричку, пропитывайся словами его и не перечь — помалкивай.

— Вы говорите — «личность». И вы говорите — «журналист-писатель». Вы говорите правильно, но не по делу. По делу вы будете говорить, когда станете писать книжку о Трайгере. А то Трайгер ушел и не возвращается. Через книжку вы его и вернете домой, на Землю. Мона с Молдаванки знает, что говорит за Трайгера.

«Трайгер! — беззвучно повторил Николай. — Красная капелла. Жизнь, смерть, война...»

Камушки автоматной очередью, вроссыпь, стрельнули из старческой, в пятнах пигментах руки, брызнули вдоль по ближайшему надгробию.

Было от чего передернуться, озноб загасить злостью.

— Хватит вам, дядя! Выиграл ваш Трайгер Вторую мировую, и в Москву — за орденами. А Берия — его за колючку, чтобы не высывывался.

— Откуда вы это изволите знать?

— Оттуда, Мона с Молдаванки, что в Израиле я не первый день. Тут что ни божий одуванчик, в заначке у него обязательно пару подвигов отыщется. Причем по обе стороны «железного занавеса». Спрашивается, почему же их тогда называют евреями молчания?

— Помалкивали — вот и евреи молчания. А сейчас, на свободе, рты открывают.

— Не влить ли нам в эти рты, дядя Мона, по граммულке? — перехватив инициативу, Николай кинулся на зов человеческой потребности.

— Вы с собой носите?

Николай нырнул в боковой карман пиджака за флягой, вытащил ее, тугоплескую, налил полустаричку Моне в металлический колпачок, сам присосался к влажному горлышку.

Мона принял стопарик, напрягся стрункой, будто все еще у гроба с дрожливым венком. Но опомнился — опрокинул и, не найдя заправки, помассировал в смущении нос костяшками кулака, как боксер перед выходом на ринг.

— Хорошо вот так после похорон.

— Налить по второй?

— Другой бы отказался.

Полустаричок довольно закудахтал, протер ладонью алюминиевый колпачок и в от-машку — наливай!

Николай соизмерил морщинистого дядьку с недостаточно емкой рюмашкой.

— Бесейдер — порядок по-нашему. Чего градусы переводить с недоливом? Принимай на грудь! — протянул флягу. — Будь человеком, как на поминках.

— Мы уже на «ты»?

— В Израиле по-другому не бывает!

— Правда твоя! И отчества у нас нет, но живем, живем, — полустаричок Мона пососал губы, подыгрывая приятной щедрости. И — в глоток, затяжной, фронтальной мерки, будто уже и не боец незримого фронта, а парашютист. Принюхался к кисти руки и, убедившись, что вдыхает запах собственного тела — собственного, не подставного — внезапно, в пояснение непонятого вроде бы поступка, добавил: — И своих коренных фамилий не имеем мы ныне в наличии. Псевдонимы — не люди...

— Понятно! И ты, значит, Мона, ломал немакам блиц — их — крик поперек хребта?

- Ломал. По секретке. Без права разглашения. Но что за пренебрежение, еще молодой человек?
- Какое пренебрежение? Просто мне сейчас не до Второй мировой...
- И за Катастрофу не болит?
- У меня другая катастрофа! — устало сказал Николай.
- Личная? Или тайна?
- Безличная!
- Тоже на разведку работал?
- На свою жену, дядя.
- Не сложилось? Жена ушла?
- Ушла... Ушла на пять минут, вынести мусор... И кто знал, что эти гады подложили бомбу в мусорный бак.
- Это мода у них теперь такая.
- У них мода, а у меня ни жены, ни ребенка. Нина была на девятом месяце, — пояснил Николай, жадно массируя виски.
- Не надо отчаиваться. Ты еще совсем молодой человек.
- Пятьдесят шесть. Нужна мне такая молодость! Да я не отчаиваюсь. Я...
- Тогда пойдем отсюда. Зачем тревожить кладбище?
- У меня свидание.
- На кладбище?
- На кладбище.
- И с кем, позвольте спросить, если ты не сумасшедший?
- С женой...
- Что? Ах, с женой? Тогда сиди здесь и дальше, как босяк... И пей в свое удовольствие. А я пойду себе в одиночестве. Темнеет...
- Иди, дядя Моня, иди...
- Полустаричок обернулся:
- Да будет тебе известно, официально я Монус-Вилли Кайзер! Если возникнет мысль «навестить», пожалуйста, адрес: Иерусалимский район Гило, боксерский клуб «Алуф».
- «„Алуф“ — „Чемпион“», — машинально перевел в уме Николай.

## 2

Иерусалимские сумерки...

Влажный, подкрашенный суриком воздух, плодящий из людей светящиеся тени — тени плывущие, тени скользящие, проступающие из ниоткуда.

Плачет сумрачный сурик неизбывными слезами судеб людских. Неприкаянно бродят облака над вскинутыми к звездам надгробиям.

Николай был болен собой — не фантазиями. И даже воздушная тень жены его, мерцающая между небом и землей, над кладбищенской дорожкой, не просквозила его дрожью испуга. После трагической гибели Нины в нем, либо от безысходности, либо от нервного перенапряжения, родилось какое-то шестое чувство. Он стал воспринимать в неживом — живое, слышать неслышимые прежде звуки, будто пришедшие с небес. Так представлялось ему. И с этими представлениями ему жилось легче, чем без них. Легче, но не проще. Впрочем, проще бывают только мощи, как писалось в каком-то стихотворении шестидесятых годов.

Жена его Нина за последнюю неделю еще больше округлилась. Ноги ее в танкетках-плетенках смотрелись тоньше, костистее. Должно быть, из-за выпячиваемого под платьем, приподнятого почти до груди живота.

Нина, как обычно, и даже не по взгляду, а скорее по неприметной для постороннего подавленности мужа, уловила его настроение и приветила этакой, только ей свойственной полувнятной улыбкой.

— Михайлыч! — назвала по закоренелой привычке, приобретенной еще в ту пору, когда работала ретушером в фотоателье «Прогресс». — Опять «настроение»? Что на этот раз?

— Мы тут без отчеств! — напомнил Николай и, смущаясь, неловко отстранился от объятий. — Не ко времени это, — оправдываясь в проявленной слабости, притронулся со всей осторожностью к вздутому животу жены, будто опасался, что он, подобно воздушному шару, того и гляди, лопнет.

— За нас не беспокойся, Михайлыч! — Нина опять улыбнулась невнятно. — Мы и там разродимся. Если бы ты знал... рождаются и впрямь там... А потом, готовенькие...

— Избранные?

— Пусть — избранные... Потом приходят сюда.

— Приходят — уходят, а жить надо на этом свете.

— Жить надо... — согласилась Нина. — А ты похудел за эту неделю.

— Война! Всю неделю был разъездным корреспондентом в Ливане. От Цора до Бейрута. Где на машине, где на своих двоих. Похудеешь!

— Ничего. Это тебе идет. Но поменьше нервничай. Нервные клетки, как говорится, не восстанавливаются.

— Да, понимаешь... Заскочил на радио, отписался — и в студию. А там — опять эта вобла фаршированная Линда. С предложениями руки и сердца.

— Новенькая?

— Новенькая — старенькая! Какая разница? Хочу чужой спокойной жизни! Но не такой...

— «Ох» и «ох» на тебя, Михайлыч! Чужая она только до первого поцелуя. Принимаешь чужую — лишаешься своей.

Николай не почувствовал тепла прикосновения.

— Эх ты, Кассандра дней моих суровых!

— Старушка я потусторонняя, Михайлыч, — с тихой горечью сказала Нина. — Клуша я, домохозяйка. С мясорубкой — в профиль. У газовой плиты — анфас. И ретушировать не нужно. Хоть на выставку утраченных иллюзий...

— Хватит! Иди ко мне!

Бертолетовым пламенем вспыхнули волосы Нины, вознеслись над лицом. С легкостью тени высвободилась она из рук мужа и медленно-медленно, словно против воли, пошла-поскользила в заматающий ее сурик, дальше и дальше, пока не растворилась в приспущенном над кладбищем иерусалимском небе.

Доброй феи недостает подчас будничной сказке.

Да и сказка ли это?

### 3

В запале, пьяный не от вина, пьяный от самого себя, гнал Николай машину, заезженную до скрипа тормозов японку «субару», по девятикружью Иерусалимского спуска, как раз под кладбищем.

Диковато, конечно, когда дорога, выводящая тебя из столицы ко всему Израилю, помечается в начале пути струпчатыми бликами кладбища, нависшего над загробным девятикружием. Но стоит преодолеть томительное предощущение опасности и вырвешься в укатанную прямизну автострады, где и спросонья-бодуна не споткнешься бампером о прущее в лоб ухаство.

Сколько раз после немислимой смерти Нины жалила Николая мысль: насмерть разбиться здесь, в этой выверенной близости от мертвых, ниже уровня могильных ям — под человеческими костями.

Когда Мессия сойдет на Землю, думалось Николаю, он прежде всего разворошит это нагорное кладбище, смахнет скелеты в пропасть Иерусалимского спуска — бряцайте, как кастаньеты, с откоса на шоссе, с шоссе на обочину и ниже, ниже — в глубокий провал. Оживайте там, обрастайте плотью и вновь поднимайтесь на плоскогорье, держа в зубах лебединую песню своей жизни, благодаря которой и прожили столько лет, и не умерли, когда якобы приняли смерть. А нет песни, что ж... тогда... И тогда оживайте, раз настала пора. И ревите безмозглой белугой на разрушительном подъеме в ничто.

Где ты, истина, пригубленная с изумлением при прощании с детством?

И где сам человек, образ и подобие Всевышнего?

Он нарушил. Он восстал против законов Хаоса. И создал.

А ты, человек, образ и подобие? Что ты создал? Себя?

Николаю стало неуютно от дум, будто вытягиваемых из туманных облаков, спускающихся с Иерусалимского кладбища. Он взглянул на часы: время радиному обозрению «События, новости, люди» и первому из репортажей Ливанского цикла. И включил радио.

### **Отступление первое.**

#### **РЕПОРТАЖИ С УЗЕЛКОМ НА ПАМЯТЬ**

Иногда говорят: «Все новое — это хорошо забытое старое».

Может, и так...

Первое мое заграничное путешествие, исключая выезд из бывшего Советского Союза в Израиль, состоялось теперь, летом 1982 года, в дни операции «Мир Галилеи», переросшей в ливанскую войну. Вооруженный только журналистским билетом, я пересек границу между Израилем и Ливаном и прошел маршрутом армейской пехоты от Рашидии до Западного Бейрута.

Напоминаю: эта война началась для того, чтобы защитить израильские северные города и поселения от беспощадного обстрела «катюшами» из Южного Ливана, где дислоцировались базы террористов ООП, возглавляемой Ясером Арафатом. Наша северная граница превратилась в огневую полосу, и жители Метулы, Кирьят-Шмоны, поселений и кибуцов то и дело уходили в бомбоубежища, ища там спасения для себя и своих детей.

В моих репортажах нет вымысла. В них полностью передана атмосфера этих июльских дней, когда Западный Бейрут заблокирован нашими войсками, и арафатовцы, по сути дела, оказались в мышеловке.

Итак, репортаж первый.

### **НА ПУТИ В ЦОР**

Женщин в Ливан не пускают!

На пограничном пункте офицер — представитель Армии обороны Израиля, проверяя наши корреспондентские корочки, сказал: «Возвращайтесь назад. За разрешением. Еще не было случая, чтобы женщины проезжали через наш контрольно-пропускной пункт. Их беречь надо от войны. И держать в Израиле. Да к тому же не у всех журналистские удостоверения в полном порядке».

И мы вернулись назад. В кибуцную гостиницу, превращенную в международный пресс-центр. Там получили необходимые разрешения на въезд в Ливан и снова встретились с тем же офицером, уже не столь непреклонным, скорее грустным. Он опять повторил: «Женщин в Ливан не пускают». Но сказано это было больше для затравки, чтобы, оттолкнувшись от этих слов, высказать наболевшее. «Вот вы, журналисты, выезжая в Ливан, пишете, мол, нет порядка в войсках, военная полиция груба, солдаты неопрятны, ведут себя не по-джентльменски. Вы обращаете внимание только на негатив. А его, поверьте мне, не так много...»

Чувствовалось по всему, ему хотелось еще и еще говорить, рассказывать о разном таком, что прошло мимо журналистского глаза то ли по близорукости, то ли из желания заострить зрение на чем-то отрицательном, принижающем значение операции «Мир Галилеи». Да и остановиться на том, что задевало сознание израильских солдат, которых в европейской и советской прессе подчас называли агрессорами. Впервые они не оборонялись, а являлись нападающей стороной и воевали на чужой территории. Впрочем, ничего не поделаешь — глаз репортера не объективен, а уж мозг тем более.

Нацеленный на сенсацию, журналист ищет объект для взрыва страстей потребителя массмедиа. И если не находит подходящий своим идеологическим воззрениям факт, может переступить через этику профессии. И вот на экране телевизора появляется женщина, несущая на руках мертвого ребенка. А в титрах, сопровождающих ее продвижение к зрителю, читаем, какое количество гражданского населения якобы пострадало в результате бомбардировок израильской авиации. И если мы в Израиле всего два-три года, то, разумеется, не знаем, что эти же кадры показывали раньше, во время гражданской войны в Ливане. Но тогда в титрах говорилось не об убитом ребенке, а о смертельно уставшем, спящем на руках матери. Проход женщины по экрану завершался тем, что малыш скреживал ручонки на ее шее. Хеппи-энд! Но хеппи-энд был нужен тогда, во время гражданской войны в Ливане. Сейчас, когда Израиль пошел войной на палестинских террористов, хеппи-энд показался редакторам кинохроники лишним. И обычные ножницы с легкостью справились с исторической задачей. Теперь уже младенец на руках женщины никогда не проснется.

Только и всего — отрезать несколько кадров, а как меняется ситуация и ее оценка...

Мне понятна обида представителя Армии обороны Израиля, пропускающего нас, журналистов, туда, в Ливан, где, конечно же, жизнь не отсвечивает медовой позолотой, где мы столкнемся с кровью и разрушениями. Однако надо помнить: в Ливане семь лет шла гражданская война, в стране могучего кедра хозяйничали террористы, безнаказанно убивали и грабили мирное население. И, значит, тот отпечаток войны, какой наложили на эту землю разрывы мин и снарядов, возник не из-за стремительного прохода израильских войск к Бейруту. Об этом напоминал нам и офицер пресс-службы по имени Бени, сопровождающий нас. Он указывал на движущиеся навстречу нашему автобусу машины без ветровых стекол, на изувеченные гранатометами здания. «Вот это, — говорил он нам в Цоре, — штаб палестинских террористов. Его на самом деле разнесли наши ребята во время штурма. А это... рядом... школа, где учились дети палестинских беженцев. Она целехонька. Был дан особый приказ в отношении нее, чтобы не повредили, не дай бог! Теперь эту школу подготавливают к новому учебному году». Израильскому офицеру хочется, чтобы мы сфотографировали эту школу, чтобы в наших газетах появились снимки тех самых палестинцев, которые ныне, не боясь мести братьев своих террористов, занимаются уборкой территории, моют окна и вставляют в рамы стекла, вылетевшие от удара взрывной волны. Но затворы аппаратов безостановочно работают лишь при виде разрушенных зданий. Естественно, объективу нет дела до того, чей снаряд и когда пробил брешь в стенах того или иного дома.



4

Николай припарковал «субару» в просторном дворе, окруженном двухметрового роста забором. Нехотя вобрал в себя ленивый тель-авивский воздух, резко отличающийся от иерусалимского. Он тяжело, по-черепашьи, вползал в легкие, давил густотой и влажностью.

Дом отходил от солнечного удара — с наждачным скрипом и тяжким постаныванием камня. Николай, вываренный в собственном поту, отходил от перенапряжения. Машинально потянулся за сигаретой, в кармане — пусто. Видимо, позабыл пачку на кладбище. Кого бы определить гонцом в киоск? Присмотрел пацаненка: сидит напротив рядом с другими любопытными на спинке деревянной скамеечки и приветливо машет рукой.

— Как тебя?

— Там был Толик. Здесь Натан, — охотно отозвался местный Гаврош: на рожице — хитреца, за пазухой — фи́га, брюки с пузырями на коленях.

— За сигаретами сбегашь?

— А деньги?

— Полсотни шекелей хватит?

— Без сдачи?

— Без сдачи.

— Тогда хватит. Какие куришь?

— КЧД.

— Американские?

— Кто Что Даст. Проще, «Тайм».

— Значит, «Тайм» и «Артик»? Правильно я понял?

— Ты правильно понял, Натан. Мне курить — здоровье вредить, тебе мороженое. У меня от «Артиков» оскоми́на, видеть их не могу.

Мальчуган недоверчиво посмотрел на водителя: брешет или разыгрывает? Поскреб ногтем кредитку — не фальшивая? И — резвость в обмен на доверие! — почесал, локти вразлет.

Николай нырнул в боковой карман за флягой. Проверил на слух, сколь активно в ней плещется жидкость. И взаглот — бр-р-р... Вышел из салона машины для освежения мозгов и пристроился на скамеечке, вспугнув дворовую мелюзгу. В голове хихикнуло что-то приемистое и мелкобесовое, военной жилкой прихваченное.

— Из Ливана я, с оказией, — сказал пацанятам, выходцам из Советского Союза, все еще читающим по-русски о старшине Карацупе и его верном Ингусе.

— Папу не видел там? — спросил малыш в рыжеватых локонах.

— Может, и видел. А как он выглядит?

— Я тебе фотку принесу! — сказал малыш и рванул к лифту.

Николай превзошел взрослостью и серьезностью малыша и теперь, в ожидании его возвращения, чувствовал себя неуютно. Чем бы занять себя? Впрочем, вот и Толик-Натан вернулся с «Артиком» и сигаретами.

Гаврошик израильский поддался увлеченности приятелей, готовых слушать про войну в Ливане. Вручил Николаю пачку «Тайма», устроился рядом, воткнул ему в пиджачный карман сдачу.

— Много ты там ихних поубивал?

— Я не убивал.

— А по телевизору показывают...

- Я не по телевизору, я по радио выступаю.
- А-а... Карьян? — уточнил на иврите Толик-Натан.
- Нет, я не диктор.
- Тогда убивал!
- Убивал на другой войне, — сказал Николай.
- Расскажи про другую.
- Про другую сейчас печатают в газете «Наша страна». «Мы были такими, какими были».
- Это ты написал?
- Я.
- Вот это да! Ты написал, а я — читаю.
- На здоровье.
- Ха-ха, вот откуда: «Мне курить — здоровье вредить».
- Там иначе.
- Помню! — Толик-Натан соскочил со скамейки и, дирижируя, продекламировал: «Бери махорку, не прекослова, губи за деньги свое здоровье!»
- Точно! Ну и память у тебя.
- Перший класс!
- Мне бы такую.
- А мне бы повоевать в твоём детстве. Жухнемся?
- Обмен у нас, Натан, не получится.
- Тогда скажи... очень интересно узнать... Трайгер твой там — это наш разведчик?
- Какой Трайгер?
- Твой! Из книги.
- Мой? Ах, да, разумеется, он наш разведчик, — поспешно ответил Николай и с грустью подумал: «Что за везуха у меня сегодня с этим Трайгером? На кладбище? Тут? А я и забыл, что у меня в романе мелькает эта фамилия. Надо бы посмотреть... Как давно я сам себя не перечитывал!»

В Николае забражничали понятливые до последней кнопочки трубы. И он загасил горловые всхлипы прямо из горлышка. Надо бы кончать с посиделками — надышался свежим воздухом! — и двигать наверх к Грише.

- А где тот пацан-малышок?
- Что за фоткой скакнул?
- Именно!
- Видать, под домашний арест попал! Примамай на размен его бабушку!

Многопудовая тетка, могучая и весома, внешне смутно знакомая, как танк неведомой конструкции, надвигалась на дворовую скмейку.

- Вы к Грише Кобрину?
- Безусловно, и к Грише.
- Зачем же Данилку гонять за папкой?
- Какой папка, мадам?
- Он еще говорит! Посмотрите на него!

Чтобы сгладить обстановку, Николай вынул карманное зеркальце, посмотрелся в него, не примечая, что со стороны выглядит смешно, и пригладил волосы. Ему вспомнилось: перед ним мамань Ирины, последней Гришиной жены, земноводное существо, оглушенное на все вершки седалищного нерва попойками бывшего мужа, лешака-художника, трахнутая при наступлении климакса запоздалой любовью к дочке, разведенной ею же лет пять назад как раз с тем папкой, чей портрет собирался притащить ему Данилка. Потому и пыжится, оберегая домашний очаг дочери. Потому и выхватывает наметанным глазом Гришиных собутыльников и творит им от ворот поворот.

— Вы немой? — нависает нестираной грудью.  
— Я не свой.  
— К кому вы, я спрашиваю?  
— Я сам к себе достучаться не могу. А вы — «к кому?». Шлагбаумы кругом, шлагбаумы...

— Хохмы у вас на уме, да?  
Николай почувствовал себя виноватым перед мальчишками: опозорят его сейчас, оболгут.

А он? Он покорно стерпит. Ради ее же дочки и стерпит...

Гриша Кобрин позвонил: «Приезжай срочно! С Иришей неладное! Температура под сорок. Ангина или еще что».

Гриша Кобрин позвонил, а он взял и приехал. Как скорая помощь — на вырубку.

После гибели Нины с ним стали происходить непонятные чудеса. На первое сразу обратил внимание друг его, врач-онколог Алексей Лившиц. Как-то на приятельском сабантуе Николай ни с того ни с сего — по пьянке, должно быть — шепнул Леше на ухо, что у соседа напротив, гинеколога Левы Шмидта, упивающегося своим красно-речием, будет опухоль мозга. И что? Брошенная ради юморной подначки фраза спасла жизнь дипломированному врачу. Диагноз оказался верным и, главное, своевременным. Оперативное вмешательство, и на Земле людей народонаселения не убавилось. Не чудо ли? А в Николае проклюнулось и второе, а именно — способность исцелять наложением рук. Не всех, конечно, он исцелял, а только близких, доверяющих ему, кто не назовет шарлатаном. Все же, как ни крути, экстрасенс поневоле. Экстрасенс! Но откуда что взялось — понятия никакого. Николай и не пытался понять. Иначе — свих. Разве способен земной человек понять, почему на кладбище Нина смотрится вполне живой? В своей одежде — той, в которой он хочет ее увидеть, — и в собственном теле, хотя — ему ли не знать? — ни тела у нее, ни одежды — потусторонняя тень. Но именно от нее, от тени этой, и подзаряжается его экстрасенсорный энергоблок. Так представлялось ему, или же так он себе внушил, чтобы заставить себя чаще посещать последнее пристанище Нины, неважно. Важно иное: из рук его и впрямь, по определению медиков, изредка приглашающих на консультацию и диагностику, исходила какая-то игольчатая энергия, которая, по их мнению, и способствовала исцелению.

Николай готов был исцелить и мамань Ирочки, эту неумную Любовь Исааковну, от поражения нервной системы прогрессирующим климаксом. Он поднял руки открытыми ладонями вперед к нависшим над ним грудям, ходящим, будто на шарнирах, в вырезе платья. Но его энергетический заряд произвел противоположный эффект. Женщина не распогодилась в улыбке, не начала прихорашиваться под пристальным взглядом мужчины пятидесяти шести лет, вполне достойных для бракосочетания и продолжения рода. Нет, взъерилась еще пуще!

— Ходят тут всякие! Алкоголик!  
— Тетя! — распахнул рот в защиту Толик-Натан: два ряда отточенных зубов и кулаки в придачу. — Он из Бейрута!

— А я из Риги! Ну, и что с того?  
— Тетя! Он воевал за Израиль!  
— А я воюю за вас, сволочи! Брысь по домам! — перекинулась на мальчишек. — А то фазеру скажу! Он вам покажет небо в алмазах!

Эхо отпрянуло от каменного забора — «ах-ах!». Закружилось по двору и сдохло у подъезда, в попытке укусить себя за хвост.

Ирочкина мамань Любовь Исааковна жаждала иных жертв.

Видя, как Николай ломает спички о коробок, закуривая новую сигарету, потянулась прыгучими ноготками к лацкану его пиджака, украшенному значком с золотым

пером. Вцепилась бы, да власть не та: на гражданский иск кладет — «самоуправство!», и получай штраф за нанесение морального ущерба.

— Где твоя тачка? — сподобилась на вопрос, забыв, что прежде, не растеряв еще остатки европейской культуры с латвийским знаком качества, говорила с ним на «вы». — Дуй, дуй домой! Баиньки пора!

— Эх! — старательно упрятанный в горсти огонек угас на полпути к сигарете. — Чиркай теперь спичкой снова!

— Что?

— Мадам, отодвиньтесь немножко! Подвиньте ваш грузный баркас. Вы задом заставили солнце, а солнце прекраснее вас...

— Ты не в себе? Какое солнце? Ночь на носу!

— Это не я. Это Саша Черный!

— Перестань! А что если эти голодранцы... если они тебя обворуют?

— Меня обворовывает жизнь.

— Спятил, да? Ну, не бойсь, мы на тебя управу найдем!

Ирочкина мамань, подкидывая обтянутый импортным шелком зад, поспешила в вестибюль, ко второй своей дочке Анке, прозванной «Пулеметчицей» за то, что не расставалась с тяжелым наганом в брезентовой кобуре. Вынуждена была таскать сей кусок железа даже на любовные свидания, так как состояла в бригаде охранников этого элитного пятиэтажного дома.

— Уведи его с моих горизонтов! — сказала Любовь Исааковна второй своей дочке. — Ирка к нему мостится, будто мужа у нее нет.

— Гриша его друг! — напомнила Анка.

— Дура! Я тебе разве про Гришу говорю? Я тебе говорю про Ирку. И запомни, спят не с друзьями, а с их женами.

— Я запомню.

— Выведи его! Он, пьяная эта рожа, дал мальчишке полсотни. Это же!.. Это же пятьдесят тысяч старых шекелей. Миллионер, мать его... — Мамань спохватилась. Хотя за мат здесь тоже не наказывают, однако лицо культурной женщины как девственность, раз потеряешь — не вернешь. — Сунь его в тачку вниз головой, и пусть катится.... А то у нас еще внуки от Ирки появятся с голубыми глазами.

— Глаза — чудо! А ресницы?

— И ты, дура?!

— Мама, я умная. Потому никак замуж не выйду.

— Пистолет тебе в этом деле мешает.

— А куда мне его девать? Записан на меня.

— Лучше бы записалась в загсе с Беней, тоже пистолет был, вечно на взводе.

— Ему, мама, ничего другого и не нужно было, кроме этого пистолета на взводе.

— А тебе?

— Мне еще голову подавай. И не в довесок к члену.

— Ну, так выгони этого, с головой. А то, мне кажется, приперся он сюда вовсе не с интеллектом, а с членом своим.

— Честь имею! — Анка шутливо отдала честь и выскочила во двор.

При виде вооруженной сторожихи, нарочито суровой — рука, согнутая в локте, на кобуре — Николай поднялся со скамейки, высмотрел на клумбе розочку, сорвал ее, уколовшись о шипы, и преподнес молодой женщине.

— Анка, я прямо с кладбища.

— Понимаю.

— Чего твоя мама?

— Не признал в человеке человека.

- В первый раз, что ли? По трезвому я с ней никогда не встречался. А по пьяному делу — все они... ваши мамы... на одно лицо.
- Поговори мне!
- Конечно, отговорила роща золотая...
- Березовым, под веник, языком. Твоя пародия, Коля?
- Моя.
- Так вот, пародист-затейник, — сказала тишком от маманиного уха, — сделай круг, чтоб с глаз ее долой...
- Одним кругом не отделаешься. Вокруг всего шарика придется, как Гагарину, — пошутил Николай, вползая за руль. — Она тут — бессменный часовой!
- Не трепещи, ясно солнышко! Часового беру на себя. Сегодня в клубе русский фильм дают. Спроважу на посиделки.
- Иди сюда.
- Отпусти! — дернулась Анка, схваченная Николаем и чуть было не втянутая в машину.
- А вот устроим тут стриптиз на площади! Пусть бесится!
- Увидит, твоего Гришу убьет!
- Не убьет! Гриша снайпером был на войне, сам кого угодно убьет.
- Хватит, Коля, о смерти!
- Что ж, будем жить, как говорят поэты...
- Если с бодуна они при этом, — подхватила Анка, вырываясь из его рук.
- Вырывалась и вырывалась. Побежала к стеклянной двери, вся такая из себя «ковбойская» девушка: джинсы в обтяжку, форменная, голубого отлива рубашка с эмблемой на рукаве, кожаная жилетка, мужская шляпа с шестиконечной звездой на тулье, а сзади, на широком ремне, револьвер в кобуре. Побежала легко, накатисто, весело.
- Мать моя, родина, дело выиграно! Алименты платит истец! Он — уезжает! Куда?
- На поиски денег, — усмехнулся Николай.

## 5

— А вот и наш Коля, безумчик и любимец Фортуны! — Гриша Кобрин, одетый лишь в бежевую армейскую майку с ивритской надписью-клише ЦАХАЛ и в боксерские трусы на тройной резинке, раскрыл объятия. — Входи, входи! Тут вся честная компания. Младодушечки — без подушечки. Но с насмешкой за пазухой.

Вся честная компания — это три полши, винегрет, нарезная колбаска, вываренные в соленой воде индюшечьи горлышки. По соседству — картошечка, стыдливо прикрывающая голую попку золотистыми колечками лука, стеклянные банки с маринованными огурцами и кислой капустой. Плюс к честной компании вся королевская рать. Доброхот-художник Славик Ройзман, новая его натурщица Алена, обрамленная льняными локонами, под матушку Русь, мальчик неопределенного возраста Юрчик Чучельский, переименованный на израильский манер в Ури, скромный гений абсорбции, выдаивающий из государства победившего сионизма безвозвратные ссуды на съемку фильма.

К скользким, особым тель-авивским, потом проклеенным рукопожатиям подталкивала Николая Анка-пулеметчица, завершившая смену по охране жилых помещений и теперь охраняющая их обитателей.

Гриша, пошатываясь, выплывал топором-утопленником с дивана. Художник Славик щеголял шаловливыми пальчиками: «Наше вам с кисточкой!» Киношник Юрчик вознес к заглянувшей в окно луне стопарь: «Будь!»

Николай принял стакан, предложенный Славиком. Принял приглашение сказать тост, предложенное Юрчиком.

И сказал, никого не обидев:

— Придурки придуманных горизонтов! Хочу чужой спокойной жизни!

И хлобыстнул.

— Бери мою! — откликнулась тут же натурщица.

— Твоя молью побита, — хихикнул Славик. — А ему чистую любовь подавай!

— Чистым бывает только искусство! — перебил его Юрчик.

— Если его отдавать своевременно в стирку, — парировал художник.

— Ладно вам! — возмутилась Анка-пулеметчица. — Он прямо с кладбища.

— С кладбища? — Славик — руки вперекрест — и дрожать, будто его пробил озноб ужаса.

— С кладбища, — ответил Николай. — С него, родимого, где ваши могилы еще не расписаны.

— Распишемся, кликни только гарантов, — загнул Юрчик, мастер по выбиванию ссуд.

— Там гарантами Вечность...

— Что?

— Вечность.

— Мы вечные увечные, — продолжал чудачить Юрчик. — Шекспира бы сюда для сонета. Но Сонета... кинодива моя Сонета... отказалась сегодня от винегрета. Болезнь у нее, по женской части. Впрочем, и не у нее одной... Так, кажется, а? — чокнулся с Гришей.

Гриша кивнул.

— У моей ангина. Или еще — что. Температура поднялась.

— Это у кого здесь поднялось? — ухитрилась влезть с репликой Алена, льняная «под Русь».

— Коля разберется! Экстрасенс! — Гриша, не задумываясь над двусмысленностью сказанного им, наконец-то добрался до давнего друга, обнял его, вмял в свое податливое тело.

— Служили два товарища, ага.

Николай похлопал его по спине.

— Служили два товарища, ага. Служили два товарища в одном полку.

— В одном и том же, партизанском, — добавил Гриша.

— Вот пуля прилетела, и товарищ мой...

— Не будем об этом. Это у меня сотня с лишним окривела на один глаз!

— Сотня? — прыснула натурщица. — И я предпочитаю наличными.

— Наличными он и выдает, — заметил Николай, выбираясь из объятий. — Не обманет, не обвесит. Каждая копейка весом в девять грамм.

— Свинца! — пояснил Гриша.

— Снайпер! — подытожил Николай.

— Служили два товарища, ага.

— Служили два товарища, ага.

И вместе:

— Служили два товарища в одном партизанском полку. Бах-бах, и ваших нет — ага!

## 6

В маленькой, вытянутой наподобие пенала комнате, превращенной в спальню-одиночку, под чуть ли не прозрачной простыней, четко выявляющей рельеф женской

грудь, лежала на кушетке — мокрое полотенце на голове — Ирочка и глазами побитой собаки смотрела на Николая, ожидая, что он подойдет, сядет рядом на кровать, растормошит, вклеит поцелуйчик в щечку.

— Коля! — сказала жалостливым тоном. — Не забывай, ты И-Риночкин.

Имя свое она разложила на слоги со значением, имеющим потайной смысл для каждого, кто был знаком хотя бы с зачатками иврита. «И» на языке Соломона Мудрого — остров. В результате игры слов получалось: Коля — заветный остров Риночки, где, пожалуй, самое для нее место, чтобы чувствовать себя счастливой.

Николай тоже был знаком с ивритом. Поэтому, сделав «страшные» глаза, перевел словесную игру в иное русло, не столь постельно-привлекательное.

— И-Ра! — произнес с прерывистым выдохом, будто на просмотре фильма Хичкока. И остров Риночки превратился мгновенно в остров Ужаса. «Ра» на иврите — ужас.

— Брось! — сказала Ира. — Не пугай! Послушай, как и без того мое сердце стучит!

Перехватила его за руку и, усадив рядом на кушетку, затащила ее под простыню, на потную грудь свою.

Мягкие женские пальцы внезапно обрели какую-то не свойственную им цепкость и поволокли руку ниже-ниже, к животу, и ниже-ниже, в шелковистую траву-мураву, где потерялся ни один уже кузнечик-человечек.

— Отвали! — дернулся Николай.

— Коля, не надо! — прошептала Ира, подаваясь руке, с натяжением выбирающейся назад к груди.

— Он же там, за стеной...

— С утра — там. Вернулся из Ливана и пьет.

— И я вернулся. И я пью. Дело мужское.

— Но ты сначала репортаж выдал в эфир. Я сама слышала.

— Гриша репортажи не пишет.

— Да пойми ты! Он неделю был в Ливане, вернулся — и за стенку. А я — что? Святая? Я ребенка хочу!

— Уймись, ребенка ты хочешь. За ребенком обращайся по адресу. К мужу.

— Он не способен. Не понимаешь?

— Заткнись! И ни слова об этом!

— Коля! А температура?

— Кончилась твоя температура, вставай... Стоп-стоп, но не в голом виде. Ох ты, И-Ра, бить тебя некому!

— И-Бить меня некому...

Выйдя в кухню, где транзистор, поставленный на стиральную машину, тихо тарахтел разговорной речью, Николай вытащил сигарету из помятой пачки. Закурил, жадно вбирая дым. Ему было больно за давнего, еще со времен войны с фашистами, друга. Гриша с такой выверенной тщательностью засаживал пули в любую, даже самую сокровенную точку на теле врага, что лучше других понимал, как ненадежно скроен для жизни человек. И может быть, поэтому получил при полном физическом здоровье какой-то необычный нервный недуг. Не был способен создать человека для жизни. Убивать был способен, а создать нет. С тем и жил. С тем и мучился.

Из задумчивости Николая вывел грудной, женский голос радионного диктора: «А сейчас программа для полуночников».

«Что там сегодня у нас для полуночников? — вернулся он к повседневности.

## **Отступление второе. РЕПОРТАЖИ С УЗЕЛКОМ НА ПАМЯТЬ**

### **ИЮЛЬ 1982 ГОДА. ОТ САЙДЫ ДО БЕЙРУТА**

«Израэль ба дерех нахона» — «Израиль на верном пути»... Эта надпись памятна каждому, кто жарким летом 1982 года попадает в Бейрут. Она на зданиях, на машинах, на лавочках, на белых флагах, вывешиваемых повсеместно. Она на арабском, иврите и английском.

Везде... Повсюду... И казалось бы, навсегда...

Но мы ведь знаем, насколько все изменчиво в мире...

Видя израильскую машину — то ли гражданскую, то ли военный джип, — ливанцы приветливо машут рукой, подбегают к окнам и скороговоркой выкрикивают приветствия. Может быть, не каждому дано их понять. И они, сознавая это, спохватываются и вдогонку за своей многословной речью шлют ивритское слово «шалом» — «мир».

«Мир» — понятие всеобъемлющее. Но для ливанцев, живших под гнетом террора вооруженных формирований палестинцев, оно значит одно — тишину и спокойствие, без внезапных криков ужаса, убийств, бандитских нападений из-за угла и спонтанного стрекота автоматов.

Фанатиками арафатовцев вряд ли назовешь. Руки их не только в крови, но и в деньгах, желательно зеленого цвета. Однако запах пороха в Западном Бейруте нынче щекочет ноздри сильнее, чем денежный аромат. Террористы под видом мирных граждан перебираются в другую часть города, занятую израильтянами. Трудно сказать, всех ли их обнаруживают. Стрелять же в подозреваемых нельзя ни при каких обстоятельствах. В первый день операции «Мир Галилеи» был издан указ, запрещающий открывать огонь по людям без оружия в руках, будь то даже явные террористы. Из-за этого приказа пострадало немало наших солдат. Но что поделаешь: на войне как на войне. А на войне с террористами еще круче. Дело в том, что, сдаваясь в плен, бандиты имели при себе припрятанные под одеждой пистолеты или гранаты. При малейшей возможности они пускали оружие в ход, зная — право первого выстрела за ними.

Право первого выстрела, а то и автоматной очереди всегда за террористом.

Я слышал этот звук, знакомую, сухую стрекотню «калашниковых». Но уже не среди ночи. Днем. В непосредственной близости от Западной части Бейрута, находясь на возвышенности, в районе дислокации израильской воинской части, напротив университета и мусульманских районов, где сосредоточились еще не разгромленные банды террористов. Автоматные очереди арафатовцев наслаивались на слова представителя нашей армии Майка, выходца из Соединенных Штатов, грузного, несколько отяжелевшего человека, отнюдь не похожего на солдата. Круглое лицо. Кудрявая шевелюра. Брюшко. А в глазах какая-то отстраненность от действительности, от этих хаотических выстрелов, несущих кому-то смерть.

Я обращаюсь к Майку:

— Как долго может продлиться такое положение?

— Пока их не уничтожим. Но не мне судить, когда это произойдет. В настоящий момент палестинцы то и дело нас обстреливают. Психологически это объяснимо. Они осаждены. Конец их близок. И, конечно же, нервы у них на пределе, — толкует нам Майк.



У его ног валяется хвостовое оперение хорошо знакомой наплечной ракеты РПГ советского производства. Я поднимаю с земли этот смертоносный кусок металла, читаю на пробитом бойком капсуле: «1974 год, сделано в СССР». И с каким-то странным чувством смотрю на выбитую звездочку. Когда-то и я мог стрелять такими ракетами. Но по условному противнику. А сегодня?..

— Сегодня, — будто откликаясь на мои мысли, говорит Майк, — мы полностью контролируем Западный Бейрут. От нас идет к ним подача воды и электроэнергии. И это несмотря на войну. Зачастую, чтобы свести к минимуму количество жертв, мы не отвечаем огнем артиллерии даже на автоматную и пулеметную стрельбу.

— А эти выстрелы — не ответ? — спрашиваю я и показываю на пожилого солдата без знаков различия с приметной, но дико выглядящей здесь, в Бейруте, трехлинейкой — винтовкой системы Мосина, не скорострельным, но смертельным оружием времен Второй мировой войны, снаряженным оптическим прицелом.

— Это наш снайпер. Фамилия? Фамилии не разглашаются. Называйте его просто по-свойски — Цви.

Цви — на иврите, а по-русски — Гриша, в прошлом русский солдат, а сейчас израильский.

В 1941 году, будучи чемпионом Белоруссии по стрельбе из мелкокалиберной винтовки среди школьников, он начал войну с фашистами. В 1945-м расписался на Рейхстаге, а под своей подписью оставил 180 зарубок, сделанных штыком. Ровно столько, сколько уложил гитлеровцев.

Опять послышалась автоматная очередь. Одна. Вторая.

— «Калачи», — говорит наш гид Майк. И разъясняет: — «Калашниковы». Будут бить, пока им рот не закроют.

Сухо треснул одиночный выстрел, словно сломали сухую ветку. Цви-Гриша передернул затвор, желтая гильза, дымясь, вывалилась на землю.

— На один автомат у палестинцев теперь меньше! — с той же невозмутимостью, что и вначале, продолжает Майк. — Мы готовы снова подписать с ними соглашение о прекращении огня. Но что толку? Им закон не писан. Прекращение огня, прекращение огня — они стреляют, пока есть патроны.

— А мы?

— Мы останавливаем их беспорядочный огонь своим...

— Порядочным? — пошутил я.

Он не понял моей русской шутки. Пожал плечами.

Цви-Гриша понял. Откликнулся пиратской фразой из «Острова сокровищ»:

— Мертвые не кусаются!

## **ИЮНЬ 1941 ГОДА. ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА**

Гриша Кобрин с мелкокалиберной винтовкой за спиной похаживал у выстроенных по ранжиру брезентовых палаток. Вдалеке погрохатывало. Грозовые раскаты рассыпались на мириады дробных звуков, и они протяжно перекатывались окрест, пока не угасали меж стволов островерхих игольчатых сосен. С востока наплывал рассвет, подкрашивая алым цветом небесную синьку.

Указательным пальцем правой руки Гриша отбивал по прикладу винтовки одному ему ведомый ритм. На губах его, окаймленных почти неприметным пушком, едва слышимо вспыхивали и гасли строки любимшегося стихотворения Блока:

О, весна без конца и без краю —  
 Без конца и без краю мечта!  
 Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!  
 И приветствую звоном щита!

Гриша любил стихи. На сам не сочинял. Главным его увлечением оставался стрелковый спорт. Он был прирожденным снайпером и подтвердил это нынешней весной, став чемпионом Белоруссии среди школьников. Теперь предстояло взять на прицел золотую медаль первенства СССР и выбить ее без осечки. Осечки и не должно было случиться. На сборах в спортивном лагере, расположенном за Пружанами, на затерянном в лесу бывшем военном полигоне, где он находился сейчас, равных ему не было. А ведь здесь собрались лучшие стрелки от Бреста до Минска, которым предстояло защищать спортивную честь республики 1 сентября 1941 года — в Международный юношеский день.

До побудки оставалось совсем немного. Можно и поразмяться.

По расписанию утренняя разминка приходилась на 8.00. Но Гриша привык приступить к ней на час раньше. Из-за отца. Тот в годы своей юности считался неплохим стайером. Не терял спортивную форму и по сей день, хотя ему шел пятый десяток. На ежедневные пробежки брал с собой и выучил бегать без утомления хотя бы три километра каждое утро.

Гриша взял старт и полетел вокруг палаточного городка по лесной тропе. Там и тут, встревоженные им, вспархивали пичужки. Возмущенно затыкала лисица, осуждающе тараторила сорока.

Внезапно птичья отповедь прервалась. В наступившем затишьи Гриша уловил характерный звук автомобильного мотора.

Кто это? Комендант лагеря старшина Ханьков? Странно! Всего часа два назад он выехал в Городищево за продовольствием. По времени никак обернуться не мог. Но «эмка» его! Его машина!

Гриша неторопливо двинулся к показавшейся на дороге легковушке. Но чем короче становилось расстояние, тем большее удивление она вызывала.

«Эмка» продвигалась вперед чуть ли не боком. Ветровые стекла выбиты. Капот изрешечен дырками. Прирожденному снайперу достаточно было одного мгновения, чтобы определить — пулевые пробоины.

«Диверсанты?»

Гриша припустил к «эмке», и только теперь заметил, отчего она так неуклюже двигается: скаты с левой стороны пробиты, резина плюхала по земле, подобно шлепанцам на старческих ногах.

Он ухватился за ручку дверцы, рванул ее на себя и вкинул жилистое тело в кабину, сбоку от коменданта спортивного лагеря, мертвыми глазами смотревшего на него. Шинель старого солдата была посечена осколками стекла. Эмаль на старшинских треугольниках в петлицах побита. В барабане нагана, валявшегося на сиденье, не видно было патронов, пахло сожженным порохом.

— Война! — сказал Ханьков.

Ему, военному человеку, нелегко было осознавать происходящее.

Сегодня он, старшина Ханьков, специально поднялся пораньше. Предстояла, как всегда в конце декады, поездка в город за продовольствием. В райцентр он хотел поспеть до петухов, быстренько завершить все дела и выкроить времечко, чтобы сходить в кино. А то сидишь в такой глуши, что и забудешь, как внешний мир выглядит!

В данный момент внешний мир выглядел для Ханькова обычно: знакомой чуть ли не на ошупь приграничной дорогой с приметными рытвинами, крытыми брезентом грузовиками, пылящими вдаль, с прицепленными к задку орудиями.

Подумалось: начались маневры.

Прибавив скорость, старшина Ханьков почти уже пристроился в хвост колонны. Но тут сработал какой-то внутренний сигнал опасности. Что взбудоражило его? Что поразило? Странная гаубица, до сих пор не числившаяся на вооружении? Непривычные глазу очертания грузовиков?

Или? Вырытая в стороне от изъезженной грунтовки траншея?

Траншея! Вырытая наспех, вполроста. И люди... Неподвижные люди... Вон тот, белобрысый, на бруствере, у перевернутого вверх колесами «максима»... Рука наотмашку, будто бросит сейчас гранату. Он же... Он мертв... И другие мертвы... Это не маневры. Это война!

Старшина Ханьков затормозил, отставая от немецкой — теперь он был в этом уверен — колонны, и вывернул к обочине. Не выключая мотор, вышел из машины, спрыгнул на дно траншеи к показавшемуся еще живым лейтенанту. Но лейтенант был убит. Он полусидел, привалив к груди минометную плиту, будто хотел запрудить ею поток крови.

— Эх, дружок мой! — Ханьков расстегнул накладной карман его гимнастерки, вытащил тощую пачку документов и фотографий. — Эко угораздило! А мы? Что мы? Что мне теперь делать со своими пацанами? Я ведь всех, свободных от нарядов, отправил на воскресный ужин к шефам на заставу. Отправить отправил. А вернутся ли? Не подскажешь, лейтенант? Ничего ты мне не подскажешь. Эх, лейтенант!

Из офицерской книжки выпорхнул листок недописанной линованной бумаги. Старшина поймал его на лету, осветил фонариком, разбирая почерк. По всей видимости, писалось впопыхах, прямо в грузовике, пока ехали на позиции.

«Мама! — прочел он. — Не беспокойся, если от меня не будет писем. Думаю, неделю-две. За этот срок мы тут все закончим и с победой вернемся домой. А сейчас...»

Дальше ни слова. Не успел лейтенант дописать письмо матери.

— Эхма! Офицер, а салага! — с горечью пробормотал старшина Ханьков. — Забыл, что солдатский треугольник следует начинать с адреса. Кому отправлять-то пишулю, кому? Мало их мам по Руси под фамилией Иванова?

С неприсущим ему кряхтеньем старый солдат поднялся и, пригибаясь, чтобы голова не маячила над траншеей, пошел по ходу сообщения собирать документы убитых. Затем, вернувшись в машину, вытащил из кобуры наган, проверил барабан и взвел курок.

Вдали обрисовалась тарахтящая звездочка.

Мотоцикл? Да, мотоцикл с коляской. Либо отстал от ушедшей вперед колонны, либо шел в авангарде следующей.

Выстрелов Ханьков не услышал. Только с мимолетным удивлением ощутил сыплющееся на него стекло и привкус крови на губах. Он надавил на акселератор, прибавил скорости, взял чуть-чуть правее, затем левее, чтобы сбить пулеметчика в коляске с прицела, и сквозь рамку лобового окна высадил по врагам весь барабан. Мотоцикл развернуло по оси, водитель вылетел из седла, кувырнулся в воздухе и упал на землю. Но пулеметчик остался невредим и сыпал вдогонку «эмке» свинцовый горох, дырявил железо.

Старшина Ханьков почему-то даже не думал о нем, на психику давило другое: осколки стекла в оконной рамке. Упругой струей встречного ветра их могло вырвать, и тогда — прощай, глаза!

Наконец мелькнула долгожданная вырубка. Ханьков круто заложил руль и повел машину по просеке, выводящей к проселочной грунтовке...

Последующие дни не дали никакого успокоения. Никаких известий! Даже с пограничной заставы, куда в минувшую субботу, 21 июня, отправились некоторые ребята из спортивно-стрелкового лагеря. И от поварики Ольги, ушедшей на разведку в местечко Уборевичи, тоже ни слуху ни духу. Продовольствие было на исходе. И старшина, собирающийся вывести пацанов в безопасное место, к партизанам или за линию фронта, прежде всего должен был озаботиться пополнением запасов съестного. На дальней излучине реки Серочь он уже давно приметил гнездовья уток и теперь намеривался поохотиться.

Мальчишки, оставленные без пригляда, мучились от вынужденного безделья и невозможности принять правильное решение.

Все их мысли сводились к войне.

— Надо пробиваться к своим за линию фронта! — убеждал Юрчик Чучельский, прозванный за фамилию «Чучелом». Он был не только меткий стрелок, но и юный фотокорреспондент «Пионерской правды». Правда, отсюда до московской газеты было далеко, и он поставлял свои снимки Славику Ройзману — главному редактору и рисовальщику выпускаемой на стрельбище стенгазеты «Снайпер».

— А где она, твоя линия фронта? — донимал его Гриша Кобрин. — Мы и так за линией, только с другой стороны.

— Где-то там, на северо-востоке.

— Конкретней нельзя? — спросил Славик-художник, набрасывая в блокноте штриховой портрет приятеля.

— Вот пристали! Я вам не справочное бюро!

— Посмотрите на него, «не справочное бюро»! — деланно возмутился Гриша. Он сидел на земле, подтянув под себя ноги. Мосластый, с оттопыренными ушами, в надвинутой на затылок спортивной шапочке с помпончиком, он каким-то образом напоминал отошалу птицу — не то филина, не то ястреба.

— А что ты предлагаешь?

— Надо подаваться в партизаны, — ответил Гриша.

— А где у них линия фронта? — передразнил Юрчик, подражая его интонациям.

— Их линия фронта нам не нужна. Нам надо самим организовать отряд. И драться.

— Ты соображаешь, что говоришь?

— Драться испугался, Юрчик?

— Я не об этом, черт тебя подери! Это при длительной войне, как с Наполеоном, нужны были партизанские отряды. А при скоротечной?

— Кто тебе сказал, что война будет скоротечная?

— Фильм такой был. «Если завтра война» называется.

— Ох, Юрчик, здесь не кино! И война — не завтра, а сегодня. И нам не докладывает, скоротечная она или нескоротечная.

— А от нее мы и не требуем доклада! — завелся Юрчик. — В стенгазету мы как раз поместим совсем другие слова — не ее, а Лебедева-Кумача! Так, Славик?

Главный редактор «Снайпера» пожал плечами.

— Что ты имеешь в виду, Юрчик?

— Песню из кинофильма «Если завтра война».

— Слова знаешь наизусть?

— А то!

— Может, споешь?

Если завтра война, если враг нападет,  
Если темная сила нагрянет,  
Как один человек, весь советский народ  
За свободную Родину встанет.

На земле, в небесах и на море  
Наш напев и могуч, и суров:  
Если завтра война,  
Если завтра в поход —  
Будь сегодня к походу готов!

Если завтра война — всколыхнется страна  
От Кронштадта до Владивостока.  
Всколыхнется страна, велика и сильна,  
И врага разгромим мы жестоко!

— Разгромим! Кто бы сомневался? — сказал Гриша. — Поэтому и говорю: надо в партизаны подаваться.

— Бросьте! — устало заметил Славик, поправляя рисунок. — Стенгазету — да, можно и сейчас выпустить. Тушь есть, бумага есть. А все остальное... Вот старшина вернется, тогда и решим, куда подаваться. Не понимаете, мозгов нет? Не нам теперь выбирать дорогу. Войне выбирать за нас.

— А вон и Ольга! — перебил его Юрчик.

На лужайку выбежала лагерная повариха. Она тяжело дышала, машинально смахивала тыльной стороной кисти пот со лба.

— Мальчики! Мальчики! Где Ханыков? Надо спасти наших! Сожгут их заживо! Изверги!

От волнения Ольга говорила поспешно и невразумительно.

— Ольга!

— Что!

— Уймись!

— Да я...

— Говори толком. Что случилось?

— Всех согнали в сельсовет. Всех сожгут. Родненькие, милые мои! — подвывала Ольга-по бабьи. — О-о-х, господи!

— Будет тебе! — Гриша перешел на приказной тон. — Отвечай только на вопросы.

— Да я...

— Молчи! Только отвечай.

— Немцы...

— Сколько их?

— Две мотоциклетки, шесть немцев.

— Когда появились?

— Ночью появились, на рассвете. Зашли в избу к Давидовичам. А там... Там у них прятались раненые красноармейцы.

— Отстреливались?

— Кто? Давидовичи живут без оружия.

— Я о красноармейцах.

— Красноармейцы отстреливались. Из нагана. У них был один наган на двоих, вот они двоих немцев и убили.

— А те?

— Что «те»?

— Немцы!

— Немцы там всех убили вместе с Давидовичами. Потом людей из местечка загнали в сельсовет. И сказали, что перед отъездом всех сожгут.

— Когда это?

— Не знаю. Еще не сожгли.  
 — Откуда ты все это выведала?  
 — Девчушка спасшаяся, из местных, мне рассказала. Я ее в лесу повстречала. Да вон она. Лея! Лея, голубушка, иди сюда!

Девочка лет тринадцати — смоляные косички, сарафан в цветочках — подошла к мальчишкам.

— Здравствуйте!  
 — Здравствуй, и слушай команду, Лея!  
 — Что?  
 — Ничего! Слушай и выполняй! — продолжал приказным тоном Гриша, произвольно приняв на себя роль командира. — Бери Славика и дуй за подмогой к старшине Ханькову. Выведешь его короткой дорогой в местечко. А мы? Мы! Не пропадать же вашим! Мы с Ольгой рванем. Может, поспеем.

— А справитесь? — испуганно спросила девочка.  
 — Спрашиваешь! Только и всего, что по два выстрела на брата.  
 — Они снайперы, они чемпионы, ох, господи! — пробормотала Ольга, смахивая платком слезы с глаз.

Менее чем через час Гриша с Юрчиком были на месте. Оставив Ольгу на опушке у разлапистой ели для связи с ожидаемым подкреплением, они проскользнули в безжизненную деревищу, пробрались к заброшенной мельнице, стоявшей на возвышенности, неподалеку от сельсовета, и через выставленное окно проникли вовнутрь.

Около минуты ушло на то, чтобы освоиться с полумраком. По винтовой лестнице подростки поднялись наверх, к слуховому окну.

Отсюда, чуть ли не с десятиметровой высоты, отлично просматривалась местность: выстроенные по ранжиру домики, сквозная, петляющая у дальних холмов, за деревней, дорога, копошащиеся у мотоцикла на площади немецкие солдаты. Отсюда были различимы и люди, запертые в сельсовете. В глубине одной из просторных комнат, приспособленной для заседаний, различался кожаный диван с лежащим на нем бородастым мужчиной в марлевых повязках. В изголовье сидела старушка в парике и черном платке и поила раненого водой с ложечки. Наблюдая за ней, Гриша на какое-то мгновение представил свою бабушку, такую же религиозную еврейскую женщину, в таком же парике и платке, и ему стало трудно дышать. Хотелось тут же перевернуть затвор и засадить пулю в затылок немцу-мотоциклисту, торчащему внизу на площади, на убойном для мелкокалиберной винтовки расстоянии: пятьдесят метров — дистанция, которая считалась его «коронкой». Но без Ханькова боязно начинать. Стрелять-то ведь по живой мишени. Раз не попадешь — не зачетное очко потеряешь, а жизнь, и не только свою.

Один из немцев, с унтерской окантовкой на погонах, отделившись от остальных, поливал крыльцо и деревянные стены здания бензином из объемистой канистры. Опорожнил металлическую посудину, посмотрел на расползающиеся по доскам пятна жидкости и отдал короткое распоряжение мотоциклисту.

— Что он сказал?  
 Юрчик вопросительно посмотрел на напарника.  
 — Приказал тому — вон тому, что повыше всех будет — закинуть что-то на крышу.  
 — Что?  
 — Если бы я знал! Я понимаю их через идиш, а не через немецкий, — ответил Гриша.  
 — Смори! Смори! Что делается!

Мотоциклист извлек из коляски небольшую канистру — плоскую флягу литров на пять. И, подойдя к сельсовету, забросил ее на крышу.

Унтер отдал ему короткое распоряжение и закурил сигарету.

— Что он ему сказал? — спросил Юрчик.

— Подожди! Дай разобраться!

Мотоциклист вернулся к коляске, сел за пулемет и повел стволом по дуге вверх, проверяя прицел.

— Ну? Гриша!

— Вот гады! Решили поджечь избу разом с двух концов. Эта сволочь, что за пулеметом, расстреляет канистру на крыше. А та сволочь, что с погонями унтера, подпалит дом снизу. И начнут делать цирк. Так и сказал: «делать цирк».

— Какой цирк?

— Люди станут из окон выпрыгивать — вот какой! А они... Вильгельмы Телли гребаные!

Юрчик прикусил губу.

— Чего же мы ждем?

— А Ханыков?

— Что нам Ханыков, Гриша? Не его жизнь, наша сейчас на кону.

— Ладно! Бери на прицел унтера. А я займусь водилой.

— Потом успеть бы нам перезарядиться...

Унтер-офицер вынул изо рта сигарету и, готовый кинуть ее в темную лужу на крыльце, отдал команду: «Файр!»

Но прежде чем пулеметчик успел надавить на спуск, фашист различил сдвоенный щелчок мелкашек. Даже не успев удивиться постороннему звуку, он как-то странно, наподобие толкателя ядра, присел на правую ногу и бочком, бочком — к стене, а затем пополз по ней вниз, срывая ногти. И эхо от его команды «файр» будто смеялось над ним, откатывая в сторону от здания искрящийся окурок.

Оставшиеся в живых немцы — двое из четверых — оторопело взирали на сослуживцев, дергавшихся в предсмертных конвульсиях. Но осознать, что произошло, им так и не довелось. Неслышимая смерть добралась и до них.

Гриша отдернул затвор. Из патронника вывалилась гильза. Запахло жженым порохом. Теперь его можно было вдыхать с наслаждением, как на соревнованиях, зная, что победил.

## 8

— Мальчики, песен хочю! — Анка-пулеметчица разлила по забытым за разговором стаканам, скривила носик и, стоя, подтягивая живот к позвоночнику, плеснула в себя водку.

— Ты требуешь песен, их есть у меня, — хмуро пошутил Николай.

— Так спой!

— Мои песни не для безголосых певцов.

— Мудрено что-то! — откликнулся Гриша Кобрин.

— Расшифровать?

— Шифруй не шифруй, все равно получишь...

— Минус в банке! — Анка-пулеметчица, смеясь, выложила кукиш.

Ночь, тель-авивская ночь. Болотная непролазь муки, порочная нагота облаков, подсвеченных затуманенными фонарями. Тягость от восприятия себя и прочих «венцов творения» из Божьей кладовой со вторсырьем — все это дымилось в Николае, тлело, вело к самовозгоранию.

— Гриша! Уймись, не доставай!

— Нет, Колька, нет! Не гоношись — послушай!

- Ну?
- Помнишь того журналиста американского? Через кого я перебросил твои рукописи в Израиль, когда ты был в отказе?
- Положим, помню. И что с того?
- Так я его сейчас встретил.
- Когда это сейчас?
- В Бейруте! Дней... Неважно! Пару дней назад.
- И?
- Интересовался тобой.
- А что мне до его интереса?
- Тебе ничего. А твоим рукописям...
- Что?
- Он теперь при крупнейшем нью-йоркском издательстве «Магрем-пресс». Книгу пишет о ливанских событиях.
- Я тут при чем?
- При том, что твой роман о войне... о той — нашей! — он своему издательству предложил.
- Результат?
- Приняли. Готовят к изданию.
- Без перевода? Загибай!
- Он сам и перевел. Сам и предложил. Твое дело теперь — только договор подмахнуть.
- Какой договор?
- А вот такой! — с хмельной улыбкой, означающей победную, Гриша помахал продолговатым конвертом. — Суприз, а?
- Не имей сто рублей.
- А имей...
- Служили два товарища, ага.
- Служили два товарища, ага.
- И вместе:
- Служили два товарища в одном партизанском полку.
- Бах-бах, и ваших нет — ага! — пропел Гриша, передавая конверт Николаю.
- О наших не будем. А вот об арафатовцах... — Николай посмотрел на часы. — О! Пять утра уже натикало. Включай транзистор. Моя утренняя передача. Как раз на тему: бах-бах, и ваших нет.

**Отступление третье.  
РЕПОРТАЖИ С УЗЕЛКОМ НА ПАМЯТЬ**

**ЛИВАНСКАЯ МОЗАИКА  
Международный синдикат террора**

**(хроника от 8 июля 1982 года)**

Взаимоотношения лидеров террористических группировок в осажденном Западном Бейруте ухудшились. Главари ООП живут в атмосфере подозрительности, взаимных обвинений, сведения счетов между организациями и попыток устранения тех или иных политических противников.

«Пауки в банке!» — так охарактеризовал их западный корреспондент, очевидец событий Эдвард Смит. Он пишет: «Оказавшись в котле, террористы продолжают сво-



дить счета друг с другом. Их военизированные группировки, и прежде не славившиеся взаимотерпимостью, ведут постоянные междоусобицы, находятся на грани гражданской войны. Арафат никому не доверяет, исключая разве что ближайшего своего помощника Хани эль-Хасана.

В частной беседе с западным журналистом Ясер Арафат признался, что не видит никакого выхода из создавшегося положения. Так или иначе, ему и его людям придется покинуть Бейрут. Лидер палестинцев призывает соратников сражаться до последней капли крови, однако это не помешало ему обратиться с личной просьбой к беседающему с ним журналисту, чтобы тот походатайствовал о предоставлении ему политического убежища в одном из иностранных посольств, если израильтяне войдут в западную часть города.

Ни одно из посольств не откликнулось на эту просьбу».

### **(хроника от 11 июля 1982 года)**

Итальянская полиция обратилась к Израилю с просьбой о выдаче четырех террористов из «Красных бригад», захваченных в ходе операции «Мир Галилеи».

Североирландская полиция, информированная израильтянами о поимке на тренировочной базе ООП четырех боевиков Ирландкой республиканской армии, также просит о их выдаче.

Министерство иностранных дел Японии сообщило, что израильтяне взяли в плен шестерых японских террористов из подпольной организации «Красная армия». Японский посол в Израиле направил руководству ЦАХАЛа послание, в котором просит предоставить всю имеющуюся о них информацию.

Эти краткие, но вполне исчерпывающие сообщения появились сегодня на первых полосах газет. Комментарий к ним таков: почти половина из 9000 захваченных террористов не имеют никакого отношения к палестинцам. Это пакистанцы, сомалийцы, алжирцы, некоторые располагают ливанскими паспортами. «Ландкснехты террора» шли в наемники, как и положено наемникам со времен первобытных войн, ради материального вознаграждения. Деньги не пахнут...

Согласно документам, обнаруженным на базах террористов, наемники приезжали в Ливан все последние годы. В 1982 году переброска в Ливан групп международного терроризма проходила особенно интенсивно. Например, сальвадорцы прибыли 26 февраля, турки 4 июня, южноафриканцы 23 июня. Список можно продолжить за счет выходцев из Индии, Бангладеш, Пакистана, Цейлона и других стран. Все они предварительно прошли профессиональную выучку на тренировочных базах Советского Союза, Восточной Германии, Кубы, Пакистана.

На протяжении многих лет Ясеру Арафату удавалось скрывать от общественного мнения западного мира, что ООП — на самом деле это нечто вроде Главного штаба международного терроризма. Сегодня благодаря оперативным действиям израильской армии тайное стало явным.

Секретные документы, захваченные на опорных пунктах врага, были переданы президенту США Рональду Рейгану на июньской встрече главой правительства Израиля Менахемом Бегинем и с этого часа стали достоянием прессы.

### **Аэродром Энцер**

Аэродром, расположенный вблизи от южноливанского города Энцер, служил палестинским террористам для засылки в Израиль планеров и воздушных шаров со

взрывчаткой. Он был засекречен и строго охранялся. Руководство ООП полагало, что с эскалацией террора с воздуха их акции примут более широкий характер и станут куда эффективнее. Это позволит парализовать жизнь в пограничных поселениях Израиля, вызвать панику и уход местных жителей в глубину страны.

В планы арафатовцев, однако, свои коррективы внесли израильские солдаты.

Несколько метких выстрелов, произведенных снайпером Гришей, и воздушные шары упали на головы отправителей взрывоопасных посылок. Затем стремительная атака спецназа, и аэродром Энцер, с которого стартовали начиненные смертоносным грузом воздухоплавательные аппараты, превратился в обычную перевалочную базу для израильских солдат.

Комендант аэропорта, открывая новую вертолетную трассу между Южным Ливаном и Израилем, сказал: «Теперь солдатам-отпускникам будет легко добираться до дома. Всего полчаса лету, и ты в Израиле».

### **Торговля — мать порядка**

Уже на второй неделе боевых действий ливанские предприниматели хлынули на север Израиля — в Метулу, пограничный городок, где к тому времени открылись представительства наших концернов «Кур», «Раско», «Ям тихонит».

Здесь было заключено немало торговых сделок. Ливанцы закупали все, что только возможно. Продовольственные продукты, сборные дома, мебель, пасту, зубные щетки, лак для ногтей, крем для волос.

Деньгами они располагали, и немалыми.

В считанные дни обзавелись израильскими товарами на сумму в сотни тысяч долларов.

Вот что сказал по этому поводу на пресс-конференции член правления израильской фирмы «Ям тихонит» Шмуэль Ухана: «Мы предоставляем ливанцам превосходные условия для заключения коммерческих сделок. И за наличные, и по бартеру. Кроме того, представляем долговременную рассрочку в платежах. Все это чрезвычайно выгодно как для нас, так и для них».

И то правда. Прежде ведь как было... Придет палестинский террорист, посмотрит на товар. И говорит: это мое, и это мое. Вот и вся купля-продажа.

### **Узы Гименея**

В маленьком городке Дер-эль-Камаль, неподалеку от Бейрута, сыграли свадьбу. Жениха зовут Эли. Невесту — Гила. Любовь у них была стремительной и сильной, как танк жениха.

Свадьба прошла по всем еврейским правилам, под крики «горько» и орудийную канонаду.

И я там был,  
Мед-пиво пил...  
И по усам текло...  
И по зубам попало...

Довольны были и родители молодоженов. Их доставили на свадьбу из Израиля на военном самолете. Так что на авиабилеты не тратились. И могли все сэкономленные бабки промотать в ливанских ресторанчиках или в магазинчиках, полных изделий из золота и серебра. О-чень де-ше-вых!

### **Воровской патриотизм**

Как известно, от тюрьмы и сумы никто не застрахован. Вот характерный пример этой народной мудрости.

Йосеф Шемтов, матерый израильский преступник, находящийся в бегах, при первом известии о взятии Бейрута покинул заграничное убежище и прибыл на родину, где его ожидали с наручниками. Он выразил желание добровольцем пойти на фронт. Израильская полиция, плюнув на его героический порыв, арестовала патриота прямо в аэропорту имени Бен-Гуриона, который, к слову, хотел видеть среди своих сограждан-евреев также и воров, и проституток. Видимо, сапожниками и парикмахерами сыт был по горло.

Йосеф Шемтов уверял твердокаменных тюремщиков, что рвется в бой и хочет с оружием в руках искупить свою вину перед обществом. А что касается — «сидеть», то... «сидеть» он еще успеет, жизнь ведь не кончается на границе с Ливаном. «Почему? — спрашивал он с дрожью в голосе, тряся наручниками. — Почему террористам, истинным бандитам-уголовникам, по которым тюрьма плачет, позволительно воевать? А ему, по сравнению с ними недоношенному, можно сказать, преступнику, непозволительно? Резонный вопрос. Действительно, почему?»

### **Железнодорожные надежды**

Железная дорога, связывающая Хайфу с Бейрутом, была проложена во времена подмандатной Палестины. Отрезок магистрали, проходящий по территории Ливана, функционирует и по сей день. Израильский же участок «железки» давно пришел в полную негодность.

Однако сегодня у нас в стране снова вспомнили о старой магистрали. Министр транспорта Хаим Корфу предполагает, что ее можно восстановить. По подсчетам специалистов, сообщил он мне, это займет всего шесть недель и обойдется в пятнадцать миллионов шекелей.

Ау, благие намерения!

Эхом в ответ: «Благими намерениями вымощена дорога в ад».

### **Новый теракт**

Пятилетняя ливанская девочка из деревни Маис-эль-Джабель была ранена в результате теракта: взорвался трактор, начиненный взрывчаткой. Израильские солдаты, оказавшиеся поблизости, перебросили малышку на вертолете — медлить было нельзя! — в Хайфскую городскую больницу.

Заведующий детским отделением Теодор Янко сказал после операции: «Угроза для ее жизни миновала, ливанская девочка идет на поправку».

### **Телефонный переполох**

Командир одного из небольших подразделений, сражающегося в северном секторе, направил сержанта Ицхака Эпштейна в Нагарию со списком номеров домашних телефонов своих солдат.

В задачу Эпштейна входило обзванивать родителей сослуживцев, передавать им привет, рассказывать всякие армейские байки о хорошей и безопасной жизни на прицеле у террористов — одним словом, успокаивать.

О секретном задании Эпштейна проведали и в других воинских частях. Его джип останавливали на ливанских дорогах и подсовывали все новые и новые номера телефонов.

В результате, прибыв в Нагарю, он чуть ли не сутки висел на проводе, дозваниваясь до ста пятидесяти абонентов.

Интересно, кто оплатил его счет?

### «Скорая помощь» для Ливана

Как сообщают из Министерства здравоохранения, в Ливан ушла автоколонна «Маген Давид Адом» — двадцать карет «скорой помощи».

Машины имеют при себе передвижной банк крови, реанимационные установки, операционный инструментарий — все то, что необходимо для оказания срочной медицинской помощи гражданскому населению. Израильская медицинская бригада, насчитывающая шестьдесят врачей, пробудет в Ливане две недели. Затем на смену ей придет другая...

## 9

Гриша Кобрин тяжело поднялся с дивана.

— Стучат вроде.

За дверью топтались два крепыша явно восточной внешности: пышная шевелюра, усики, глаза с хитрецей.

— Вам кого?

— Ури у вас? Нам сказали, что у вас.

— Шхемские ребята, с гробницы Йосефа, — охарактеризовал явление палестинцев Юрчик-киношник. — Рэкетеры местного разлива.

— Ахмед и Юсуф, — представились незнакомцы.

— Положим, я Гриша. И что с того?

— Время — деньги платить, — пояснил Ахмед.

— Это вы бросьте! — Гриша решительно притушил его своим животом. И давай как резиновой пресс-формой давить — вытеснять.

— Позвольте! — упорствовали дотошные визитеры. — У нас намерения...

— Туалет направо по коридору, там оставьте ваши намерения. И не забудьте спустить воду! — Гриша, не имеющий детей, все еще играл в доброго папу.

Но гости не желали выглядеть покладистыми детьми.

— Пропустите нас к Ури! Время — деньги платить! — требовательно сказал Юсуф.

Гриша пихнул незваных гостей животом, но уже не к двери, а на середину салона.

— Угрожаете?

— Мы по-хорошему.

— Сейчас проверим! — обернулся к Юрчику. — Встанем спина к спине? Дадим двоюродным братцам кусить русского кулака?

— Мне представительство нужно.

— Тогда попроси Колю встать на замену.

— А что? Бывший боксер, чемпион спартакиады. С самим Генной Шатковым боксирует... на тренировках. Ему битая морда — не помеха для представительства.

— Юрчик! На радио намекаешь? — Николай заметил подковырку там, где ее не было.

— Во всяком случае, радио — не телевизор. Вякай себе на здоровье! Кто тебя видит?

Николай мелкими глотками отпивал черный кофе, держа на скосине взгляда наглых пришельцев.

Да, был он чемпионом. Да, был даже чемпионом спартакиады. Но какой спартакиады? Ежегодной Спартакиады Ленинградского университета, проводимой с 1940 года. Сегодня, когда ему пятьдесят шесть, разумеется, смешно оперировать победами на ринге начала пятидесятых. Но тогда, в 1951 году, став студентом ЛГУ одновременно с Геннадием Шатковым, он не избег повального увлечения однокурсников и вышел на ринг. С самим олимпийским чемпионом 1956 года, конечно, в бою не сталкивался — и вес не тот, легкий, и мастерства поменьше. Но в спаррингах с ним стоял. И вслед за ним поднимался на высшую ступень пьедестала почета. В памяти по сей день сохранилось, как о том студенческом времени написал Геннадий Шатков в своей книге «Большой ринг»: «Мои спортивные успехи отозвались в университете самым неожиданным образом. Чуть ли не все студенты захотели стать боксерами. Организовали несколько секций, в которых я и еще несколько ребят, знакомых с боксом, стали работать на правах общественных тренеров».

Между тем незваные гости добрались до киношника.

— Ури?

— Честь имею! — Юрчик, пошатываясь, поднялся со стула.

— Мы с Кевер Йосеф — гробницы Йосифа. Время — платить деньги.

— Я снимал там фильм не по вашему заказу. И не на ваши бабки!

— Но на нашей территории.

Юрчик потянулся за бутылкой, чтобы налить поскорей, выпить и с возможной трезвостью растолковать приятелям ситуацию:

— Уже неделю на меня наезжают! Я фильм для Сохнута снимал в гробнице Йосифа, а они думают, что это у меня бабки водятся, будто я уже продюсер. Пусть с Сохнута разбираются, психи!

Ахмед психом себя не считал, хотя и упорствовал с не меньшей настойчивостью:

— Тебе было сказано — плати. Ты сказал: спрашивайте деньги у Сохнута, он богатый. Тебе сказали — отсрочка под проценты. Время пришло — плати деньги.

— Он вам заплатит, — усмехнулся Гриша.

Юрчик сказал, как отрубил:

— Своим обрезанным, на доллары не разменным!

Его недопоняли.

— Мы разменяем. На доллары, на шекели.

Юрчик театрально развел руками:

— Ждите...

— Мы тебя ждем в Абу-Дваш. Второго напоминания не будет. Сегодня первое и последнее. Деньги — наличными.

— А этого не хотите?

На сгибе локтя Юрчик показал им кулак.

— Врежь! — подсуживал его Славик.

— У Коли это лучше получится. А то «боксер, боксер», а кто видел его в деле?

Можно быть боксером. Можно не быть боксером. Но нельзя, не дано одновременно быть боксером и не быть им. Таков закон. Пусть этот закон глуп. Пусть он не дорос до нашего убойного века. Но он закон. И Николай Вербовский, сытый по горло водкой, поднялся из-за стола, пошел к ним, непрошеным, усатеньким живчиком. А что там ходить? До центра комнаты, как на ринге, четыре шага.левой — раз, правой — два и снова левой — три. А дальше? Вот тут и боксерский секрет, в четвертом шаге. Нет, не вперед вышагнула правая нога, а в сторону и будто превратилась в толчковую. И тут же рука махнула по закодированной в мускулах памяти. По четко очерченной дуге, прямо у челюсти Ахмеда заканчивающейся.

Есть!

Он ляжет сейчас и не вздрогнет. Но... он еще... он еще на ногах. Не соображает — уже укололи, уже погибельная доза боксерского снотворного, имя которому «нокаут», парализует мозг и нервную систему. Доля секунды и... Помнится, эта «доля секунды» запечатана в левой руке, в ртутно-упругих пальцах, стягивающихся в кулак. И — взрыв! Взрыв с выносом левого плеча вперед. Далекий, не осколочный взрыв, в самой уязвимой точке на лице противника — у переносицы.

Прорвалось, ретивое... Прорвалось... И скопытился гость незванный. И подхватывает его под мышки сотоварищ его, такой же радивый до зуботычины охальник. Деньги явились требовать! У кого? У Юрчика! А у него с деньгами как у летучей мыши со зрением: в наличии мизер и в микроскоп не разглядишь.

Гриша помог Ахмеду, старшему из усатеньких, уроненному на пол, подняться. И подействовал быстрее к нему выявлению по ту сторону двери.

— Идите, ребята, идите! Там лифт, и — будьте здоровы! Гуд бай!

Потом, хлопнув в сердцах дверь о косяк, крикнул в спальню:

— Ирка! Какого черта впустила эту нечисть сюда?

Не дождался ответа, смущенно шмыгнул носом:

— Обиделась, дура.

— Сам дурак! — сказал ему Николай, выходя из нервного напряжения..

— Чего так? С недолива?

— С перелива! — и под общий смех, для расслабления: — Я тебя еще заставлю трахнуть собственную жену!

## 10

Гриша чувствовал себя неуютно. Как в тот день, когда в сорок третьем пришел с Большой земли самолет за освобожденными из концлагеря пацанятами и забрал его с ними — сопровождающим — в Москву. Не знал ведь тогда, что в сорок четвертом весь партизанский отряд будет разгромлен и мало кто останется в живых. Коля Вербовский, полковник Мазурков и еще кое-кто. Получилось, он — Гриша Кобрин — вытащил счастливый лотерейный билет. Выжил тогда. И сейчас, вопреки коварным законам войны, продолжает жить. Даже там, где полноценной жизни не видится. В убойном цеху литературной критики. И здесь нужен тот же снайперский подход, бить — так в яблочко! А «винтовка» — столь же допотопная, образца, скажем, 1891—1930 годов, как и его трехлинейка русского изобретателя Мосина, оснащенная оптическим прицелом. Только вытащишь ее, только приладишь к плечу, как склоняют головы породистые — все, в кого не повернет убойный ствол. Все! Или почти все человеки, звучащие гордо под литавры газетных рецензий. Вроде бы писатели... Вроде бы признаны... А слабина в каждом. На тонкой ниточке слабина. Потянешь и вытащишь пучеглазого караса, заживо нафаршированного всякими пряностями, притягательными для завсегдаев ярмарки иллюзий. Вспоминается, как называли из израильского журнала «Дважды два», приглашали на рюмочку. А под рюмочку, понятное дело, наворачивается бутылочка, под бутылочку легкая закуска и бодливая просьбица: написать рецензию. О ком? Да вот девушка одна выявилась. Поэтическое зерно, тонкая душа, подкрашенные губки. Стихи пишет и прозу.

— Не та ли это девушка второй поэтической свежести, о которой Коля Вербовский сочинил юморной стишок?

— Та...

— Так уже написано!

— После таких писаний требуется реабилитация.

— Позвольте, какая реабилитация? Написано не в бровь, а в глаз.  
И Гриша с удовольствием прочел:

Такая жухлая мадам,  
Что нечем поживиться взгляду.  
А как поет: «Кому ни дам,  
Тот счастлив целую декаду!»

- Ну, скажете...
- Это не я, это Коля! Он писал, ему и реабилитировать.
- С ним не договоришься.

С ним действительно не договоришься. Впрочем, зачем договариваться? Не Советский Союз, статусы эфемерны, ранги не определены.

Межграницное бытие! Живешь в маленьком Израиле, а мыслишь широко — по-российски, имперских замашек не превосмогая. И вдруг понимаешь: никуда ты не уехал от русской литературы, просто она с твоим отъездом географически преобразовалась, превратилась из региональной в международную, и создается не только в Москве и Питере, но и в Иерусалиме, Нью-Йорке, Париже, Лондоне, Мюнхене.

### **Отступление четвертое. РЕПОРТАЖИ С УЗЕЛКОМ НА ПАМЯТЬ**

#### **АВГУСТ 1941 ГОДА**

— Адрес запомнил? Я тебя спрашиваю, Гриша Кобрин! Адрес запомнил? — настойчиво повторил старшина Ханьков.

— Запомнил.

— Учти, я на тебя надеюсь. Напоминаю, моя винтовка — лучшая прицельная винтовка 1941 года. На майских снайперских учениях — единственная! — выбила девяносто девять из ста.

— Пригашу, не волнуйтесь!

— Нет-нет, именно потому, что волнуюсь, я даю тебе прикрытие. Юрий Чучельский пойдет с тобой до опушки леса, а дальше, в Пружанах, ты своим ходом. Только не высовывайся там. Внешность у тебя...

— Что?

— Как тебе объяснить? Немцы подозрительны на твою внешность... Понимаешь?

— Не понимаю.

— Словом, так: не высовывайся! И выполняй задание, как приказано.

— Будет сделано. Винтовку разберу на части, спрячу в мешок с картошкой и притащу. Семью вашу проведу. Доложу: так, мол, и так, прорываемся к своим. Встретимся после победы.

— Голубчик, так и передай: «после победы».

Тень легла на изможденное лицо старшины. Уже два месяца бредут они по лесу, и что ни день — новая неопределенность. Куда податься? Ни фронта, ни партизан. Тьма сознания! А мальчишкам — что? Сдать бы их под пригляд матери и жены, живущих в этих местах, но до них самостоятельным шагом не дойти. Приходится пацанов посылать на проверку: живы ли, здоровы? А им, сумасбродам, бой подавай. Как же, снайперы! Пусть метки они, пусть сверхметки... Но разве бросишь их в огонь? А как пройти меж огня к своим и не угодить в полымя? Это еще та география! На штабных учениях не изучена, на маневрах не опробована. Постигай все на своих ошибках. Но тут война, на ошибках не поучишься, каждая — последняя, как у сапера.

— Иди, солдат, — с тяжелым вздохом сказал старшина Ханыков и отдал Грише честь. Гриша тоже вскинул руку к козырьку фуражки.

— Есть!

Пружаны — городок, знаменитый стрелковым полигоном, где проходили соревнования на первенство Белоруссии по пулевой стрельбе, внешне не очень изменился. Некоторые дома, правда, разрушены прямым попаданием бомбы, пара улиц — в рытвинах и ухабах, со следами танковых траков.

Номерные таблички на фасадах домов вели мальчишку к Анастасии Сергеевне и Евгении Никитичне — матери и жене старшины Ханыкова. «Уже недолго, — твердил себе Гриша, пряча глаза от проходящих мимо гитлеровцев. — Полста шагов вперед, потом поворот направо и третий дом от угла с небольшим приусадебным участком».

Когда же наконец свернул направо, то почувствовал, как по телу прокатился озноб. Третий с краю дом был наполовину разрушен. Кое-где торчали почернелые от огня стропила. Дранка, слетевшая с крыши, усыпала крыльцо.

«Вот так история! Что я скажу Ханыкову?»

Говорить ничего не хотелось: ни потом — Ханыкову, ни сейчас — самому себе.

Гриша приоткрыл дверь — никого.

Потеряно, шаркая по-стариковски подошвами, прошел в гостиную, усыпанную битым стеклом и спекшимися комками штукатурки.

Напротив, в красном углу, в покореженной, в пятнах копоти рамочке, некогда тщательно отлакированной, заметил свадебный портрет Ханыкова.

Старшина ободряюще улыбался, стоя за усевшейся в кресло с букетом цветов на коленях женой. От него, в ладно сидящей армейской форме — кожаные ремни вперекрест, планшетка на боку, — усы подкручены по-чапаевски, веяло какой-то былинной силой.

Казалось, он способен взвалить весь этот дом на плечи и унести его в случае опасности куда подальше, в какое-нибудь укромное место.

Но от дома уже практически ничего не осталось... Война внесла свои коррективы... Нечего было спасать... Впрочем...

Гриша вспомнил, зачем он пришел сюда. Отсчитал третью половицу от окна, выходящего на улицу, подпернул ее финкой, и — открылся тайник. А в нем, как в футляре, лежала снайперская винтовка системы Мосина — трехлинейка, завернутая в парусину.

Гриша проверил затвор: ходит как миленький. Что ему сделается, когда оружие в надежных руках? Дослал патрон в ствол. Осторожно приподнялся над подоконником.

Выбитая рама. Открытое пространство. Слева, через дорогу, метрах в семи, киоск. Рядом два немца с пенными кружками. Один в форме гауптмана, второй в кожаном плаще, в шляпе с высокой тульей.

«Без пива не можете, с...?»

Гриша аккуратно, без малейшего шороха, примостил винтовку на подоконник.

«Это будет для вас последний глоток!»

Навел оптический прицел на офицера: метр шестьдесят ростом, не больше, глаза голубые, волосы русые, нос маленько помят, как у боксера. Его собеседник был выше ростом, шире в плечах, с родинкой под левым глазом.

«Вот сейчас мы тебя и научим мигать на этот глаз!» — злорадно подумал Гриша: очень уж ему не понравилась родинка. Чем? Кто растолкует — чем? Не понравилась, и все тут: «Мужчины не должны носить родинки не лице — женское это дело!»

Немцы чокнулись пузатыми кружками.

— Гауптман Кайзер!

— Герр Трайгер!

«Молитесь своему Богу!» — зло прошептал Гриша.



Но в тот момент, когда указательный палец снайпера лег на спусковой крючок, в его уши проскользнуло заветное, словно выкраденное из детства: «Зайтн гизунд!»

«Евреи? — опешил Гриша. — Какие евреи? Откуда? И по-немецки „зайтн гизунд“ — это, наверное, зайтн гизунд — будь здоров! А если — нет?»

Гриша внезапно ощутил какую-то потливую слабость и незаметно для себя самого отошел от ненависти. Ему расхотелось стрелять. Ему хотелось слушать. Слушать чужую речь. Слушать этих немцев, выглядевших как немцы, но говорящих на идиш. Или это он ослышался? Но говорили, говорили, и он слышал. «Зайтн гизунд!» — слышал собственными ушами. И еще его ухо выловило... Что? Вот что!

Трайгер — гауптману Кайзеру: «Аклеинере ингеле» — «Маленький мальчик».

Гауптман Кайзер — Трайгеру: «Их вейс?» — «Я знаю?»

Что-то еще было на идиш. Но что? Не различить. Расстояние. Небольшое — семь метров, но все же расстояние. Оно замыкает слова. Но не память. Имена странных немцев Гриша запомнил. Казалось, на всю жизнь. Герр Трайгер и гауптман Кайзер. Он опять напряг слух. Но какой-то посторонний звук, похожий на шмелиное жужжание, задрожал в воздухе и вмиг разогнал всех по домам.

«Самолет!» — понял мальчик. И еще он понял: сейчас — самое время проскользнуть к лесу, вряд ли кому попадешься на глаза. Не став даже разбирать винтовку, он замотал ее в одеяло, взятое с кровати, и кинулся к лесу, сопровождаемый эхом от разрыва бомб у железнодорожной станции.

Юрчик встретил его, где и уговорились, в яру под тремя сосенками, сбежавшими-ся к обрыву.

— Гляди, что делает! — восхищенно показывал он на языки пламени, взметнувшиеся у разъезда. — Видать, эшелон с боеприпасами гробанул! Наша машина — «ДБ-ЗФ».

— Откуда знаешь?

— У меня на их звук ухо натаскано. Мой батяня служил на таком же.

Юрчик запрокинул голову к небу, отодвинув в заспинье автомат, и из-под козырька ладони всматривался, щурясь, туда, откуда поднимались цветковые сполохи. Серая точка, издающая ровное жужжание, увеличивалась в размерах, обретала сигарообразное очертание, размашистые крылья.

— Никакого прикрытия! — сказал Гриша, высвобождая трехлинейку из свертка.

— А ему никакого прикрытия и не требуется! — запальчиво отозвался Юрчик. — У него знаешь какие пулеметы — артиллерия!

— А скорость?

— Ладно тебе! — махнул рукой Юрчик. — Накличешь!

И, видно, накликал.

— «Мессеры!»

Вынырнув из-за мохнатого облака, три немецких истребителя, раскрашенные в камуфляжные цвета, с крестами по центру фюзеляжа, догонисто пошли на перехват тихоходного бомбардировщика дальнего действия. Он заложил крутой вираж и попытался оторваться на безопасную дистанцию. Но не вышло. Огненные трассы прочертили воздух, прошли впритирку с кабиной летчика. Самолет задымил, стал терять высоту.

«Все! Конец! — поняли ребята. — Прыгать надо!»

Юрчик сорвал с плеча «шмайсер». Присел, упер локти в колени. И, взяв на прицел ведущий «мессер», дал очередь.

— Не переводи патроны! — разозлился Гриша.

— Молчи!

Юрчик был на пределе. В нем на какое-то мгновение возникло ощущение, что за штурвалом падающего ТБ-ЗФ он различил собственного отца. И потому, спасая его,

он стрелял по «мессерам», стрелял, стрелял, страшно ощерив рот, пока автомат не заглох и отражатель выбросил последнюю гильзу. Лишь теперь, когда магазин «шмайсера» опустел и горка отстрелянных патронов выпускала легкий дымок, он осознал всю пустоту и глупость затеянной им пальбы.

— Только внимание привлечешь, — жестко сказал Гриша.

— Молчи! Там, может быть, мой папа погибает!

Юрчик со злобой пнул подвернувшегося некстати под ноги ежа, бросил бесполезный автомат на землю. И рухнул следом за ним. Уткнул глаза в мокрый мох, закрыл ладонями уши, чтобы не видеть и не слышать того, что сейчас должно было произойти. Губы его почти беззвучно шептали:

— Прыгайте! Прыгайте!

И будто на зов его голоса, прямо над головой, отделились от бомбардировщика три темных комочка, заскользили с возрастающей силой падения вниз, высветились белыми куполами и упруго зависли в совсем низком уже небе, где-то на уровне ста метров от верхушек сосен.

— Юрчик! Теперь порядок! Идем встречать! — сказал Гриша, беря винтовку под мышку.

Но вражеских самолетов, очевидно, такой «порядок» не устраивал. Они развернулись, вновь легли на боевой курс и понеслись на беззащитных парашютистов.

Под плоскостями «мессеров» запульсировали огненные точки. Два шелковых купола вспыхнули, охватили, словно коконом, тела летчиков и с ускорением бросили их на дно глубокого яра.

Третий парашютист благополучно разминулся с трассой крупнокалиберного пулемета и плавно приближался к земле. Пятьдесят метров! Тридцать! Двадцать! Еще чуть-чуть, и — здравствуй, жизнь!

Однако ас Люфтваффе вновь развернулся на боевой курс.

Почти касаясь крыльями верхушек деревьев, металлический стервятник пошел на сближение с беспомощной жертвой.

Охотник на человека нажал на гашетку.

— Мимо! Мимо! Есть попадание!

Восторженное — «есть попадание!» — было последним, что довелось произнести и услышать немецкому майору, сидящему за штурвалом истребителя.

Своей пули не слышат.

Своей смерти не видят.

Гриша опустил ствол оружия.

Протер тыльной стороной кисти заслезившиеся глаза.

И сказал:

— Прав Ханыков. Самая прицельная винтовка 1941 года. Я с ней теперь не расстанусь.

## 11

— Давай сбежим от рассвета! Ну его! — сказала Анка-пулеметчица.

Николай кивнул и двинулся за ней. Куда? Без соображения.

Они вышли к пустынному еще торговому центру. Пересекли магистраль, вклинились в какую-то улочку, вихлявую, словно танец живота.

Николай ввел Анку в подъезд дома. Поднялся с ней на третий этаж и, выискивая в кармане по пьяной забывчивости ключ, остановился у больничного цвета двери. Тут и вспомнил: он не в Иерусалиме.

Почувствовал себя неловко:

— Куда это я тебя привел?

— Ко мне, — сказала Анка. — Или уже забыл, где я живу?

## 12

Николай проснулся, машинально включил приемник, стоящий рядом с кроватью на тумбочке. Радио сообщило:

«Исполняется полгода со дня смерти знаменитого еврейского разведчика Леопольда Треппера, умершего здесь, в Израиле, 19 января 1982 года».

Николая будто выхватило из полудремы. «Опять! Опять это со мной! — вздохнул с каким-то недоумением. — Сон, что говорится, в руку. Мне ведь и приснился Треппер. Точно, Треппер! И второй с Иерусалимского кладбища. Как его? Тот, кто вместе с Треппером был в „Красной капелле“. Трайгер? Да, Трайгер! У Треппера я хоть интервью брал когда-то. А Трайгер? Трайгера никогда вживую не видел, а вот во сне — пожалуйста. Взял и явился, будто чем-то мы связаны. Чем? Романом моим о войне? Этого мало. Что я мог о нем написать, если никакого представления не имел об этом человеке? Он не Нина, а — гляди же! — тоже является с того света, подобно ей. Метафизика кладбищенская, черт ее подери! И чего у них, у покойников, такая тяга ко мне? В чем тут суть? Сути не вижу. Но факт есть факт: не иначе как натолкнул меня во сне включить радио, послушать передачу. Зачем? Ключ какой-то хочет передать с того света? Ключ? Какой ключ? Не для расшифровки ли чего-либо? Боже ты мой, Трайгер, Трайгер! Уж не работаешь ли ты теперь на потустороннюю разведку? — с долей иронии подумал Николай. — Люди твоей специализации, как говорится, на пенсию не уходят».

Николай подкрутил ручку настройки, придал радиному голосу громкости:

— В тылу у немцев успешно функционировали три агентурные сети — Леопольда Треппера и Анатолия Гуревича, Шандора Радо и Яна Черняка. Все они, эти бойцы незримого фронта, были евреями.

Первая агентурная сеть — это воспетая в романах и фильмах «Красная капелла». В нее, само собой, Штирлиц с малоразговорчивой связисткой Катей не входил. В нее входили разведгруппы Харнака и Шульце-Бойзена, а в парижское ответвление — другие евреи, во главе с Анатолием Гуревичем. Перечислим, чтобы сохранить имена для истории. Яков Бронин, Семен Гиндин, Александр Гиршфельд, Борис Гордон, Гиери Робинсон, Герш и Мира Сокол, Софи Познанская, Давид Ками, Герман Избуцкий, Вера Аккерман, Сарра Гольдберг, Исидор и Флора Шпрингер, Жак и Рашель Гунциг, Франц Шнейдер, Абрам Рейкман, Лион Грософогель, Лиана Берковиц, Гилель Кац, Жанна Пезан, Рита Арнольд. Среди легендарных еврейских разведчиков были и такие, о чьих подвигах даже сегодня еще нельзя рассказывать. Это выходец из Швейцарии Мусберг Трайгер, кличка «Муся», и одессит Монус-Вилли Кайзер, по прозвищу «Моня с Молдаванки».

В числе сведений, переданных евреями из «Красной капеллы» в Москву, были «План Барбаросса» — с полным содержанием системы стратегического развертывания немецких войск накануне нападения на СССР, план «Блю» — о броске немцев на Кавказ в 1942 году, о прекращении наступательных операций на Ленинград.

По оценке адмирала Канариса, начальника абвера, деятельность этой группы еврейских разведчиков, работавших на Советский Союз, стоила немцам 200 000 солдат. Поэтому немудрено, что большинство из бойцов незримого фронта погибло, попав в руки гитлеровцев в 1942 году. А кто выжил... Тех, естественно, в «благодарность за службу» наказывала уже родная советская власть. В тюремные застенки и ГУЛАГ были брошены командир «Красной капеллы» Леопольд Треппер, Анатолий Гуревич,

Шандор Радо, а также сотрудник дальневосточной разведсети — радист прославленного Рихарда Зорге Макс Клаузен.

Теперь — отдельно о Леопольде Треппере. Он родился 23 февраля 1904 года в еврейской семье в городе Новы-Тарг — Австро-Венгрия. Настоящее его имя Лейб Домб.

Еще при жизни Леопольд стал истинной легендой, хотя и ошивался в ту пору по советским тюрьмам и лагерям. При этом мало кто знает, что в Советский Союз он попал из подмандатной Палестины. Впрочем, обо всем этом он расскажет сам.

Включаем архивную запись беседы с Леопольдом Треппером, сделанную 14 февраля 1975 года, сразу же по его возвращении в Израиль после нескольких месяцев пребывания в Западной Европе, где он собирал материалы, связанные с прежней тайной деятельностью, собирав для книги, которую издал в недалеком будущем.

### ЛИЧНЫЙ ВРАГ ГИТЛЕРА

Личный враг Гитлера, нанесший непоправимый ущерб Третьему рейху и сыгравший немаловажную роль в победе над фашизмом, Леопольд Треппер выглядит не очень представительно. Невысокого роста, седой, слегка полысевший, с мешками под глазами. Он хорошо говорит на иврите, владеет немецким, французским, идиш.

Вот что он коротко рассказал о себе и своей необычной жизни.

— В 1924 году я впервые приехал в Палестину. Приехал в конце «третьей алии», с группой в двадцать человек, принадлежащей к объединению «Ха Шомер Хацаир» — «Молодой страж». До этого я был одним из руководителей этой организации во Львове.

Мы прибыли в Хедеру и занялись осушением болот и прокладкой дорог. Условия работы были очень тяжелыми. Тучи комаров, скорпионы, малярия. Но мы были идеалистами.

В стране было тогда сто тридцать тысяч евреев и полмиллиона арабов.

После года работы я покинул своих друзей и отправился бродить по стране.

Тель-Авив был в двадцатые годы небольшим поселением. Я жил в Иерусалиме и присоединился к коммунистической партии, которая была тогда еще «в пеленках». В числе ее основателей были Нахман Лист и Йосеф Бергер-Барзелей. Они основали движение, целью которого было добиться сотрудничества между евреями и арабами.

В 1929 году английские власти арестовали около двадцати коммунистов и посадили их в тюрьму в городе Акко. Это произошло после того, как мы объявили голодовку в связи с сообщением о том, что британский генерал-губернатор распорядился выслать всех наших коммунистов на Кипр. Голодовка не помогла, и в 1929 году нас все-таки выселили из страны.

Передохнув, Леопольд Треппер продолжает:

— Я уехал во Францию и был строительным рабочим в Париже. В 1932 году меня и еще несколько товарищей, которые участвовали в деятельности коммунистической партии Франции, выслали из Парижа в Советский Союз. Там я поступил в Московский университет.

О своем участии в нелегальной работе «Красной капеллы» Леопольд Треппер рассказывает немного. Вот что он говорит:

— Последние два месяца я был в Европе и собирал материалы для книги воспоминаний, которая должна вскоре выйти в свет.

Мы нашли материалы о гестапо и различных людях, нашли свидетельства, до настоящего времени неизвестные. Речь идет о тех людях, которые были оклеветаны. Их обвинили в шпионаже, а затем следы их исчезли. Сейчас мне удалось узнать, как исчезали эти люди... И еще — при каких обстоятельствах они были расстреляны.

В «Красной капелле» были евреи и из Палестины, среди них — Давид Ками и Гилель Кац, которые были настоящими героями и прошли через мучительные страдания.

Рассказывая о своих соратниках, Леопольд Треппер внезапно вспоминает о письме, полученном его женой от высшего командования советской разведки. В письме было сказано: «Ваш муж — герой. Он работает на благо нашей родины».

Это письмо было написано, когда советская власть нуждалась в таких людях, как Леопольд Треппер. А потом, когда нуждаться в них перестала, их ждала уже не Москва, а бескрайние просторы ГУЛАГа.

Леопольд Треппер, вернувшийся с победой домой, тут же оказался за решеткой и девять лет провел в тюрьме.

— В 1954 году я вышел на свободу и был поражен тем бесправным положением, в котором находились евреи Советского Союза. Я решил действовать и направил Хрущеву письмо.

Сотрудники Хрущева предупредили меня о возможных последствиях и спросили: «Зачем вы сделали это? Вас только недавно выпустили из тюрьмы, реабилитировали, вернули все права, дали пенсию и прочие блага».

Я ответил: «Сейчас, если меня снова арестуют, я, по крайней мере, буду знать за что».

Еще я сказал им, что я — польский еврей и моя деятельность в разведке была направлена против нацизма и на благо евреев.

В 1957 году Леопольд Треппер вернулся со своей семьей в Польшу и стал во главе еврейской общины Варшавы. В 1966 году побывал в Израиле, ездил по Галилее и Негеву, посетил своих друзей в кибуцах движения «Ха Шомер Хацаир» и был глубоко взволнован теми изменениями, которые произошли в стране.

Вскоре после его возвращения в Польшу там поднялась новая волна антисемитизма. Леопольд Треппер собрался было перебраться в Израиль на постоянное место жительства, но ему отказали в разрешении на выезд. И за ним установили круглосуточную слежку, чтобы не сбежал тайно.

— Я спрашивал их: «Чего вы боитесь? Что Моше Даян пришлет самолет, чтобы похитить меня?»

Так Леопольд Треппер попал в «отказ». И кто знает, как долго продолжалась бы его борьба за выезд в Израиль, если бы не сын Эдуард.

В Иерусалиме у Стены Плача он объявил бессрочную голодовку с требованием: «Отпустите отца в Израиль!»

Мировое общественное мнение поддержало его требование, и в 1973 году Леопольд Треппер, бывший гражданин Союза Советских Социалистических Республик и социалистической Польши, стал наконец гражданином Государства Израиль.

— Сейчас я хочу отдохнуть, — говорит по завершении интервью Леопольд Треппер. — Отдохнуть и опубликовать свои воспоминания, которые должны вызвать определенный отклик во всем мире.

Что остается добавить? Практически ничего.

Разве что сказать: книга Леопольда Треппера «Большая игра. Воспоминания советского разведчика» вышла в свет в 1975 году в Париже. После чего началось ее триумфальное шествие по всему миру. Она была издана на семнадцати языках в пятнадцати странах, но не на русском языке и не в Советском Союзе.

### 13

Удивительное дело, люди умирают под чужими фамилиями — уходят на тот свет и уносят туда с собой свои псевдонимы.

Леопольд Треппер... Жил под чужим именем и похоронен под чужим именем.

А кладбищенский новосел, выходец из Швейцарии Мусберг Трайгер?

Кто на очереди? Неунывный полустаричок Моня с Молдаванки? Жил-жил, ломал хребет фашизму, а родственники — внуки, правнуки, появились они в Израиле, даже могилку его не отыщут. Да и как искать, если для них, по официальной версии властей, он скончался в каком-то затертом году?

Впрочем, смерть под псевдонимом — прерогатива не только разведчиков.

В будущем она столь же реальна и лично для него, сотрудника Израильского радио. И не только, разумеется, для него. Для всех, кто вещает на русском языке. Все они упряты по псевдонимам, чтобы «там» не доискали их семейных корней и не преследовали родственников, оставшихся в Союзе.

Упряты по псевдонимам и...

Упряты до скончания советской власти...

А ей, власти этой, представляется, что она вечная...

В радиийной компании разбойников пера он Марк Бенарон. В действительности... Казалось бы, кто не знает, что он Николай Вербовский? А вот, выясняется, не каждый знает. В текучке дел, в бесконечных журналистских разъездах мелькаешь инкогнито подчас и для своих сослуживцев. Марк Бенарон, Марк Бенарон, и — достаточно! Для рукопожатия достаточно, для машинального кивка — «привет, как дела?» — достаточно. А утихомиришься на минуту и заскочишь в радиийный буфет за стопкой коньяка, и выясняется — имя твое настоящее иной раз привлекает более пристальное внимание, чем радиийное. Тебя, выясняется, читают. Причем читают, не подозревая, что ты — это ты.

Крайний столик у открытого окна. Пепельница. Чашечка кофе. И газета «Наша страна», развернутая на той самой странице, где печатается роман «Мы были такими, какими были». Смотришь и втихую радуешься: читают, и, судя по всему, с интересом!

— Ну, как? — спрашиваешь, подсаживаясь к Эфраиму Рону.

— Будто я сам писал, — отвечает он.

Это уже похвала.

— Почти все здесь правда. На своей шкуре испытано.

— Догадываюсь, — отвечает.

— Тогда будем знакомы не по-радийному. Николай Вербовский, автор...

— Ефим Гаммер... По маминой линии тоже Вербовский.

— Вербовский? Из Одессы?

— Я из Риги. А все наши Гаммеры и Вербовские из Одессы.

— Чей же ты будешь, Ефим?

— Дедушка — Аврум Вербовский.

— А его папа?

— Шимон...

— Вот это да!

— Родственники?

— Шимон Вербовский...

— Мой прадед?

— Мне дедушка.

— А мой дед Аврум?

— Мне, Ефим, по раскладу получается, дядя. Но я его никогда не видел.

— А я твоего папу, Коля.

— Пропал без вести, на фронте...

— Моисей?

— Моисей...

— Дедушка Аврум о нем рассказывал. Он тоже просился добровольцем на фронт. Но его не пустили.

— Слышал, слышал, Ефим... Потому и не пустили, что сидел в ГУЛАГе.

— Посадили еще до войны, в сороковом, Коля.

— Они всех наших посадили... Боруха, младшего из Вербовских, тоже посадили. Зато, что женат был на немке.

— Дедушка и о нем рассказывал. Письмо с запросом, говорил, посылал в Москву.

— И что?

— Ничего.

— А Клавку, его дочку, не пробовал искать?

— Пробовал, Коля. Но ему рот быстро закрыли, чтобы не приставал с расспросами.

Мол, изменница родины.

— Какая изменница? Девчужка! Несмышлениш!

— Говорят, Красный Крест вывез ее куда-то из концлагеря. То ли в Америку, то ли в Швейцарию. Назад, во всяком случае, не просилась. Отсюда — и изменница. А что, Коля, если учредить нам в эфире поиск родных?

— Каким образом, Ефим?

— Представь себе, рубрика... «Кто ищет, тот всегда найдет». Или попроще... «Отзовитесь. Мы ждем».

— Годится, Ефим. А как тебе все это видится практически?

— В рамках своего авторского радиожурнала и открою эту рубрику. Время назрело. И материал есть — мой очерк «Смех нашей боли» о дедушке Авруме Вербовском. В предисловии расскажу о судьбе его братьев и попрошу откликнуться тех, кто что-либо знает о них.

— Добре! Может, что и получится.

— Получится! Должно получиться, если кто-то из них жив. Как-никак, Израиль сейчас на пересечении всех еврейских дорог.

— Ну, да, — печально улыбнулся Николай. — Как в молитве: «Пусть отсохнет моя правая рука, если позабуду тебя, Иерусалим!»

— Аминь!

### **Отступление пятое.**

### **РЕПОРТАЖИ С УЗЕЛКОМ НА ПАМЯТЬ**

### **СМЕХ НАШЕЙ БОЛИ**

Евреи — великие насмешники. Это укоренилось в нашем сознании. И мы смеемся взахлеб, до дребезжания голосовых связок. Смеемся удачной шутке, не задумываясь, над кем смеемся.

Над кем смеются евреи, когда не смеются над ними?

Евреи смеются сами над собой, над своей жизнью, над своими надеждами, над своей болью. Сами над собой, и их смех имеет привкус горечи.

Но разве фаршированная рыба сладка, если подать ее к столу без хрена?..

Мой дед Аврум родился в Одессе.

Мой дед Аврум вырос в Одессе, на Молдаванке, по соседству с Мишкой Япончиком. Они иногда встречались, говорили друг другу «здрасьте вам». И мой дед уходил от Мишки Япончика налегке, без сапог, в тапочках на босу ногу.

Не подумайте дурного. Мой дед Аврум торговал сапогами, а Мишка Япончик был его постоянный клиент, щедрый на шутку и револьверную пулю.

Мой дед был настоян на шутке, как одесская шутка на порохе. Но он не понимал юмора, обычного, без летального исхода. Это его и губило.

В пятнадцатом году он не понимал, почему это вдруг взятый им в плен немец оказался евреем и взмолился к своему Богу, чтобы Он — Бог пленного и моего деда Аврума — покарал русского лазутчика.

Мой дед отказался допрашивать пленного. Он не хотел, чтобы Бог немецкого солдата иудейского вероисповедания покарал его «на службе Царю и Отечеству».

Немецкого солдата иудейского вероисповедания пытал во имя военной тайны однопольчанин моего деда Микола Баранюк.

Микола Баранюк не был антисемитом. Наоборот, он даже любил «жида», если это был его «жид».

— Тебя, Аврум, я никогда не пустил бы в расход, — говорил моему деду Микола Баранюк, чистя свою трехлинейку. — Потому как ты жид мой. А немецкого жида я всегда расстреляю в охотку. Потому как он жид вражий.

Мой дед по безысходности верил Миколу на слово и думал, что для него — жида своего полка — лучше грудь в крестах, чем голова в кустах.

В шестнадцатом году он не понимал, почему его, раненного в бою солдата, не желает лечить военфельдшер Приходько. Мой дед Аврум стоял перед ним в походном лазарете, держа на весу простреленную в локте руку. Боль накатывалась на него волнами и отступала вслед за огненным валом на поле боя, затихая после очередного залпа орудий. Ему, истекающему кровью, трудно было уразуметь меж обморочных приступов слабости, что военфельдшер Приходько не из его полка, и посему «гуляй, откуда пришел», — категорично, обжалованию не подлежит.

Мой дед не принимал дурацких шуток. Левою, невредимой рукой он схватил табуретку и обрушил ее на голову военфельдшера Приходько.

И они легли рядом, в обнимку, побратавшись кровью, чтобы потом, по завершении наступательных операций, принять на госпитальных койках награды за ратные подвиги из рук высочайшего начальства из царевой свиты.

В семнадцатом году мой дед Аврум не понимал, почему отныне его враги — не супостаты-немцы, а евреи, они же большевики. Он слушал речь какого-то поручика Мюллера, присланного для агитации из Петербурга, и никак не мог уловить связи между врагом внешним и врагом внутренним.

Внешнего врага мой дед знал в лицо с четырнадцатого года. Из своего винтаря он вылил ему ведро крови.

Внутреннего врага он не знал. О большевиках, правда, кое-что слышал. Из анекдотов. А что касается евреев, то хоть Меер Завец и обжулил его на толчке, все равно по вредности своей гадючьей он не шел ни в какое сравнение с немцем.

Три военных года подряд моему деду Авруму, призванному с одесского базара в действующую армию, внушили такую «любовь» к немцу, что его трехлинейка ни разу не дала осечки. И вдруг — нате вам — враг уже вовсе не дрянь-немец, а дрянь-еврей.

В мозгу моего деда никак не укладывалось, что он враг самому себе. Немцу — да! Себе? Боже упаси! Мюллер, митингующий перед толпой вооруженных солдат, был немец. Мой дед Аврум, вылавливающий на себе угрюмые, настороженные взгляды однопольчанин, был еврей. Из двух врагов — по закону войны — в живых остается тот, кто первым спустит курок. Мой дед Аврум спустил курок первым.

А потом? Потом сидел под замком в ожидании расстрела. Он ждал смерти. А пришла советская власть.

Советская власть выпустила солдата из-под замка, чтобы он воткнул винтовку штыком в землю. Мой дед Аврум вернулся в Одессу — торговать сапогами. На толчке он встретил Меера Завца, и они помирились, чтобы рассориться вновь. Меер Завец, пол-



номочный представитель новой власти, стал комиссаром торгового ряда и назвал моего деда «нетрудовым элементом».

Мой дед Аврум не понимал таких словесных новшеств. Он продавал сапоги. И считал, что его семья живет на трудовые доходы.

Но Меер Завец сказал ему — «нетрудовой элемент». И Меер Завец получил по зубам, чтобы щеголять согласно своей высокой должности золотой коронкой.

Меер Завец щеголял золотой коронкой и держал на моего деда большой здоровый зуб. Как-то раз он оцепил базар чекистами, чтобы лишить родную Одессу сапог, костюмов, швейных машин «Зингер», зажигалок, букинистической литературы, самогонных аппаратов, презервативов, птичьего молока.

Мой дед Аврум вырос на толчке, как и Меер Завец. Мой дед Аврум тоже знал все ходы и выходы с базара. Меер Завец не лишил родную Одессу контрабандного товара. Но лишил себя второго зуба — того, большого, здорового, который держал на моего деда. С тех пор Меер Завец щеголял двумя золотыми коронками, а мой дед Аврум — железными наручниками.

Советская власть поставила моего деда к стенке, чтобы он не распускал больше кулаки. Пока мой дед стоял, почесываясь, у стенки, белогвардейцы прорвали фронт. И советская власть скоропостижно постановила, что для моего деда будет лучше, если он встанет под пули врагов, а не под пули братьев по классу. Мой дед Аврум кликнул своих корешей с базара. Те кликнули дружков-налетчиков с Молдаванки. Налетчики — своих собутыльников, мелкотравчатую шантрапу с Бугаевки. Шантрапа кликнула всю голь перекатную из порта. И полк городской бедноты выступил на фронт, чтобы прикрыть дырку от бублика своими молодыми телами, пахнущими червонцами, водкой и нерастроченной на пустяки жизненной потенцией.

Полк городской бедноты прикрыл собой дырку от бублика и стал резаться в карты, ставя на кон жизнь обнаглевших белых офицеров, цена которой была копейка в базарный день. Но белые офицеры, то ли прослышав о столь мизерных ставках, то ли боясь стыкнуться в рукопашной с налетчиками, заблудились в степях и не попали под ружейно-пулеметный огонь. А полк городской бедноты, проигравшийся в пух и прах, снялся с фронта и пошел обратным порядком в Одессу на работу, чтобы вернуть друг другу карточный долг — если уже не жизнью обнаглевших белых офицеров, то чем-нибудь иным, равнозначным ей по стоимости.

Меер Завец собственноручно расстрелял командира и комиссара полка, бывших до принятия героической смерти ворами-рецидивистами. А когда он перезарядил пистолет, оказалось, что весь полк рассосался уже по толчку, портовым пивным и малинам, куда пульей не достать, если сам не хочешь быть ненароком убитым.

Меер Завец не хотел быть ненароком убитым. Он хотел дожить до светлого завтра, когда уже будет наконец построено общество справедливости, а в сортире, на улице Средней, где он родился и вырос, возведен золотой унитаз, символ достигнутого за счет равноправия всех трудящихся изобилия.

Но Меер Завец не дожил до торжества гуманистических идей, как и его предшественник с голым от умственного перенапряжения черепом, как и предшественник его предшественника, наделенный львиной шевелюрой.

И золотые коронки Меера Завца пошли на золотой унитаз для какого-то другого идеалиста с маузером, а сам он пошел в Соликамск на лесоповал, куда до этого, осенью сорокового, сослал моего деда с одесского толчка.

Он повстречался с дедом моим на лагерной делянке, дающей тысячу процентов подневольной выработки древесины. И сотоварищи-уголовнички, приветствуя такую закономерную встречу обвинителя с подследственным в местах, не столь отдаленных, умело обрушили на них — евреи ведь! жида! — подрубленное дерево.

У Меера Завца, раздавленного могучим стволом, была всего минута, чтобы, помолясь, тихо испустить дух, но он во весь голос изливал хулу на моего деда, называя его бандитом. И уголовнички засовестились в содеянном, признав инвалида мировой войны за своего, социально, так сказать, близкого — «даром что еврей, божий человек все же». Несколько верст тащили его на волокуше по глубокому снегу, пока не добрались до лагерного медпункта, где к переломанной ноге старого солдата прибинтовали стопу задом наперед. Нога срослась неправильно. И он стал заново учиться ходить, чтобы искать правду. А так как его нога смотрела совсем не в ту сторону, то он делал шаг вперед, а два назад — точно, как советская власть, когда она училась ходить в соответствии с бессмертной работой Ленина. (Кто ее сегодня помнит?)

Естественно, что, хаживая таким образом, правду в концлагере он не нашел. И по сему попросился добровольцем на фронт. Благо война уже была в самом разгаре, причем со старым его знакомцем — с внешним врагом. И на замену выбывшей из строя живой силы требовалась другая, пусть и полудохлая. Простреленной в Первую мировую руку дедушка Аврум писал заявление на Вторую мировую.

«Чем такая жизнь, готов ее отдать за товарища Сталина — на разгром врага!» — писал он не совсем грамотно, притоптывая от нетерпения изувеченной на лесоповале ногой.

Просьбу его уважили, изможденного от голода и болезней добровольца направили на медицинское освидетельствование. Однако врачам он не приглянулся. Калек. И вместо фронта, в награду за отчаянную решимость отдать жизнь «за Родину» и якобы, согласно надиктованной ему писуле, «за Сталина», старому солдату скостили чуток срок. Выправили путевое предписание на Урал, в Чкалов-Оренбург, и отправили на поиски эвакуированной из Одессы семьи. До искомого места, чуть не умерев с голоду, он и добрался весной 1944 года.

Где бывалый еврей, выросший у самого синего моря и проведший полжизни на толчке, ищет пропавших без вести родственников?

Правильно! На базаре!

По прибытии в Чкалов дедушка Аврум заковылял на местный базар. И там спросил громко у озабоченного куплей-продажей люда:

— Я имею интерес узнать, если есть на этом базаре евреи из Одессы?

— Из Одессы? Есть тут евреи из Одессы! Я сам буду из Одессы, — откликнулся мой папа Арон, наигрывающий на трофейном аккордеоне фирмы «Хоннер» фрейлехсы собственного сочинения для развлечения задолбанной ценами рыночной публики (буханка хлеба — месячная зарплата). Вечерами и по выходным, после двухсменной работы жестянщиком на военном заводе, чтобы не помереть с голоду вместе с семьей своей и дедушки Аврума, он концертировал у торговых рядов и подрабатывал на жизнь музыкой. Впрочем, и до войны он работал на заводе, а по вечерам играл на танцах в парке имени Шевченко или выступал на эстрадных подмостках той же Одессы или же Москвы, Баку, Кировабада, потом уже и Риги.

На следующий день после исторической встречи на городском рынке дедушка уже работал на папином 245-м авиационном заводе, который в 1945 году вместе с приписанным к нему крепостным народом ударников соцтруда был передислоцирован в Ригу, где стал называться «Завод 85 ГВФ». Так мои одесситы стали рижанами.

В шестидесятом году, живя в Риге, мой дед Аврум ввязался в последнюю свою торговую авантюру — на сей раз связанную с изготовлением сахарных вафель.

Какой-то проходимец заграбастал все его накопления на приобретение оборудования и хотел было смотать удочки. Когда же мой дед потребовал возврата своих капиталовложений, тот сказал, что вовсе не знаком с ним. Действительно, мой дед Ав-

рум, иссушенный в то время смертельной болезнью, не был похож на себя самого — прежнего.

Однако теперь, когда деду надо было собрать деньги на собственные похороны, он предпочитал быть узанным и опознанным.

— Меня, положим, ты не узнаешь, — сказал он хитрому своему компаньону, — а вот его узнаешь? — Он ткнул мосластым пальцем в усатый профиль товарища Сталина на двадцатипятке. — За него мне предлагали отдать жизнь добровольно, если я хочу вырваться на фронт из лагеря. Я и согласился. Чем такая жизнь, так лучше ее отдать. Но моя жизнь осталась при мне, а его, наоборот, ушла из мундира на деньги. И теперь его жизнью... на деньгах... ты должен расплатиться со мной. Ты и расплатишься... А если не признаешь его на деньгах...

— Признаю-признаю, упокойничка! И для меня лучше, уважаемый рэб Вербовский, что не ты отдал жизнь за него, а он за тебя.

В ожидании смерти дед не был настроен на шуточный тон.

— Значит, договорились, верни мне всех моих упокойничков в целостности и сохранности или сам станешь смотреть на мир их стеклянными глазами.

Его компаньон вернул все. Частью деньгами, частью натурой. Ковром. Покрывалом. Велосипедом. И одним-единственным костюмом, сшитым из лучшего в мире материала — бостона.

Мой дед Аврум упокоился на еврейском кладбище, в рижской земле, далеко от незабвенной Одессы-мамы.

Пусть земля ему будет пухом! Но не советую кому-нибудь набивать этим пухом свои перины. Жестко спать будет на этих перинах.

## 14

Разности разные... Но чувство боли одно, несносное, затяжное, расчетливое. Выложено чувство это как бы мозаикой, балует нюансами. И лихорадка сердечной мысли оборачивается бодливой тошнотой. А она всплеском жалости к себе и всем своим родичам, подарившим тебе жизнь без малейшего представления о том, что и у тебя она не заладится.

Это надо же уметь родиться в Советском Союзе! А умереть? «Они любить умеют только мертвых». Нет, это до Них умели... Эти любят только, чтобы жизнь за Них отдавали. «За Ленина! За Сталина!» Любить они и мертвых не будут. Надо жить!

Телефонный звонок вырвал Николая из задумчивости. Зеркальное трюмо, напротив, подсказало — где аппарат: сбоку, прямо на полу, под кроватью.

— Алло! Кто? Славик? Как ты догадался, что я здесь?

В мембране послышалось:

— Великое дело! Где Анка?

— Побежала в магазин.

— Оставь ей записку. Пусть мчится к нам. Иришку похитили.

— Что?

— Ты плохо слышишь? Иришку похитили! Ноги в руки, и сюда! Три минуты на сборы!

— Дай трубку Грише!

— Он умахнул за инструкциями. К своим штабникам из спецназа.

— Кто похитил?

— Те, кто ночью к нам навевывался.

— Мы же их выгнали!

— Выгнали! Да не тех! Их, выясняется, поначалу было четверо. Иришка дверь открыла, тут ее и умыкнули, спустили вниз в машину, а двое оставшихся к нам прошли.

— И получили по зубам.

— Они по зубам, а мы по карману.

— Сколько просят?

— Десять тысяч. Зелеными.

— А у нас сколько есть?

— У меня пять. На тачку копил. У Юрчика...

— С ним ясно. Минус в банке.

— У тебя?

— Я из Ливана... Но у меня есть соображения...

— Понятно.

— Условия?

— Какие условия? Звонили час назад. Условия бандитские, но пока еще сносные. Требуют с Юрчика десять тысяч зеленых за то, что он снимал картину в гробнице Иосифа, в Шхеме, на их, так сказать, территории. Не расплатимся, объявят Иришку заложницей. Со всеми вытекающими. И тогда вернут ее лишь в обмен на тысячу террористов, взятых в Ливане.

— Ирка наша поднимается в цене.

— Ладно тебе! Давай поскорее!

Трубка брошена на рычаг. Сигарета в рюмку. Рубашка! Пиджак! Брюки! Зеркальное трюмо, напротив, вторит изломанности движений. И тоже, будь его воля, выскочило бы в коридор, рвануло вниз по лестницам и на улицу — дальше, дальше. Но где оно — это «дальше»? Промежуточное — в квартире у Гриши, конечное — под Шхемом — Наблусом, в арабском поселке Абу-Дваш, откуда явились Иркины похитители.

Рядом гробница Иосифа — Кевер Йосеф, где похоронен еврейский пророк Иосиф Прекрасный, разгадавший тайный смысл фараоновых снов о семи тучных и семи тощих коровах, спасший древних египтян от повального голода.

При исходе евреев из Египта его бранные останки, вынесенные по велению Моисея в специально оборудованном ящике-саркофаге, путешествовали на плечах соплеменников сорок лет в пустыне, пока не упокоились там, откуда Иосиф был родом, в Шхеме — Наблусе.

Здесь, в этой гробнице, порой случаются необъяснимые чудеса. Некоторые люди внезапно «прозревают» и видят нечто непостижимое, вплоть до ангелов небесных. Некоторые, наоборот, на какой-то момент «слепнут» и погружаются в плотную темноту, магнетически тянущую все глубже и глубже. Все зависит от того, к чему открыто их сердце.

А к чему сердце обычно открыто? К добру или злу. И еще — к любви.

Любовь — понимаешь у входа в гробницу Иосифа — особое мистическое чувство, никогда не покидающее человека. В нем угасает лишь влюбленность. Однако и она имеет спасительное свойство — возрождаться снова и снова, как птица Феникс.

Прожитое время — понимаешь — не исчезает, а существует как бы в иной плоскости, куда и ты имеешь доступ, либо во сне, либо наяву, в зависимости от предрасположенности к восприятию сверхъестественного.

Призраки — понимаешь — всего лишь визуальная оболочка собственных страхов и переживаний.

Но все это понимаешь лишь в том случае, если ты призван к такому пониманию. А как определить — призван ты или не призван? Служить здесь, охранять гробницу от разорения, будучи солдатом-резервистом — призван. Сражаться здесь с атакующими время от времени гробницу палестинцами — призван. А вот призван ли к восприятию сверхъ-

естественного? Этого никак не определить! Даже самому Моисею, выведшему еврейский народ из египетского рабства, не дано было самостоятельно осознать — призван ли он к этому или нет. Да и как иначе, без Божественного вразумления, решиться восьмидесятилетнему старцу на новую жизнь? Для вразумления потребовалась встреча у неопалимой купины с Гласом Небесным. А тут? У входа в гробницу? Здесь всего лишь разбита клумба с цветами. Да и ту затоптали местные жители, идущие к стоянке автобуса, который отвозит их на работу в Тель-Авив.

Гробница Иосифа им мешает, торчит, как еврейское родимое пятно на теле города Шхема — Наблуса. Будет их власть, они тотчас снесут этот каменный мавзолей, уничтожат надгробие, и по обычаю возведут на месте порушенной религиозной святыни свою мечеть.

Но когда это еще будет? Пока же этим местом правит вечность, и — казалось бы! — мертвому Иосифу ничего не грозит. И он или же не он, а просто ночные звезды на доходчивом небесном языке толкуют солдату-резервисту, охраняющему их покой, всякие разности.

...Жизнь отмирает с рождением. Не проси займы у судьбы. Ищи в себе Божье творение.

Не сотвори себе кумира!

Не кради!

Не желай жены ближнего твоего!

Не! — не! — не! И на каждое «не» стоязыкое «да!» и похоронный разбой самовластного эго.

Связующее звено между тем светом и этим — вера. Верь! И ты излучаешь энергию, необходимую для равновесия миров.

Не для того ли, чтобы создать живые аккумуляторы необходимой небу энергии и был рожден человек? Тогда многое становится ясно в истории людей, их войн, их исторических катастроф. Стоит запасу веры в человеке истощиться, как наступает нарушение энергетического баланса, и тогда — вземной перепад «атмосферного» давления, и налетает мистический ураган.

Коллапс — массовый психоз — уничтожение ни в чем не повинных людей.

Гибель Помпеи — Октябрьский переворот, свергший в клиническое сумасшествие одну шестую часть земли, — Вторая мировая война и гибель шести миллионов евреев, убитых лишь потому, что родились евреями.

## 15

— А вот и наш Коля, безумчик и любимец Фортуны! — начал с привычного приветствия Гриша Кобрин. — Входи, входи! Тут вся честная компания. Мдадодушечки — без подушечки.

На столе — кофейничек, чашечки, нарезанный пирог. Бутылка кока-колы. Никаких следов ночного пиршества.

Гриша, вернувшийся из поездки к штабникам спецназа, был в полной армейской форме, но без знаков различия. На коленях — русская трехлинейка с оптическим прицелом и глушителем. Нервничая, постукивал пальцами по потертому прикладу с многочисленными зарубками.

— Тут у меня фашисты, террористы... Винтовка с чистой совестью, — пробормотал невразумительно и вновь поднял глаза на Николая: — А ты? Что имеешь?

— У меня американка, М-16.

— Где?

— В багажнике машины.

- Хорошо. Через полчаса выступаем.
- Есть новости? — спросил Николай.
- Старости! Как в книжках о войне. «Все ушли на фронт, действуйте самостоятельно, по обстановке».
- А спецназ? Хотя бы для прикрытия.
- Я сам — спецназ.
- Обстановка?
- С обстановкой проще. Пока мы в гражданском, стрелять нельзя — трибунал!
- Поделись обмундированием, — пошутил Юрчик.
- Это и будет сделано. Всех вас записал в милуим... Дикая нехватка в резервистах!

Война!

- Я не о войне...
- Форма в шкафу, Юрчик! И не волнуйся, в добровольцы записал, не в дезертиры. На пару-тройку дней, пока управимся. И назначение вытребовал. На охрану поселения Кфар-Моше. Их Абу-Дваш — напротив. Так что наши кролики будут под неусыпным прицелом.

Художник грустно вздохнул:

- У меня время не казенное, портрет через неделю сдавать заказчику. А то — плати неустойку.
- Повторяю, Славик! Для тебя отдельно. В гражданском виде стрелять не положено. Трибунал!
- У тебя только «стрелять» на уме.
- Предлагаешь иной вариант?
- Пять кусков у меня есть, — сказал художник — Зелеными.
- Они требуют десять.

Николай:

- В придачу к наличным могу отдать свою «субару».
  - Навсегда? — Гриша недоверчиво посмотрел на старого друга.
- Николай налил себе кофе, присел к столу и, снимая напряженку, заговорщицки подмигнул.
- Навсегда не получится. У меня там противоугонное средство. С секретом из «Тысячи и одной ночи», от Синдбада-морехода.
  - То хитрое устройство, что в Ливане достал?
  - Оно самое, Гриша!
  - Это меняет картину!
  - Пусть только сядут за руль, там и возьмем их тепленькими.
  - О чем это вы? — спросился на подковырку Славик.
  - Много будешь знать — скоро состаришься! — буркнул Гриша. — Форма в шкафу!

Переодеться! И по коням!

Спустя двадцать минут из двора выехала самая популярная в Израиле начала восьмидесятых машина — «Субару», 1979 года выпуска, похожая на ракету внешне и изнутри. Из открытых окон торчали стволы двух винтовок — допотопной, но убийственно меткой, системы Мосина, и современной, американской М-16, умеющей с не меньшей старательностью отключать человека от жизни.

Врубленное на полную громкость радио, то ли в насмешку над действительностью, то ли в полном соответствии с ней говорило голосом Николая Вербовского: «В Ливане я по-настоящему не видел войны...»

## **Отступление шестое. РЕПОРТАЖИ С УЗЕЛКОМ НА ПАМЯТЬ**

### **ПРОЩАЙ, БЕЙРУТ!**

В Ливане я по-настоящему не видел войны. Не видел искореженных танков и бронетранспортеров. Все это я видел чуть позже, в Тель-Авиве, на выставке трофейной техники. Правда, все вооружение террористов там было представлено в наилучшем виде, без налетов пороховой гари, без вмятин от осколков. Более того, оно было привезено в Израиль не с поля боя, а с арафатовских складов, упрятанных в пещерах. Склады вмещали такой запас оружия, что его хватило бы чуть ли не на миллионную армию. И это без всякого преувеличения.

Я не задаюсь вопросом, кому предназначался этот арсенал техники и боеприпасов, когда все военизированные группировки Организации освобождения Палестины насчитывают всего тридцать тысяч человек.

Я не спрашиваю, для каких целей накапливался на Ближнем Востоке столь мощный ударный кулак.

В советском своем прошлом я бывал в «кадрированных» полках, не имеющих личного состава, состоящих только из «мертвой» техники. И знаю — видел своими глазами, как во время боевых учений «мертвая» техника внезапно обретала экипажи и выходила на оперативный простор. А там... там, на оперативном просторе, ей все равно: направление главного удара на Венгрию, Чехословакию, Афганистан или на Израиль.

Технике все равно... Она железная. Право и закон для нее как дышло, куда повернул — туда и вышло.

В Ливане я не видел трофейных танков, орудий. Палестинцы даже не успели приспособить советскую технику под свои скудные боевые знания, как ее, неосвоенную, захватили наши десантники и вывезли в Израиль — от греха подальше. Для музейных надобностей или на перепродажу Соединенным Штатам, изучающим огневую мощь потенциального противника.

В Ливане я видел израильских солдат, превративших эту технику в трофейную.

Странное они производят впечатление, эти солдаты. Ни орденов, ни медалей. Небритые, в мятых мундирах. Автоматы на длинном ремне свисают до колен. Зрелище запоминающееся, но напоминает не лагерь боевой части, а партизанский бивак.

Вот, допустим, завидев журналистский автобус, спешит к нам навстречу один из таких солдат. Машет руками: «Остановитесь! Остановитесь!» Но не это привлекает внимание. Что бросается в глаза, так это распахнутая ширинка на армейских шароварах цвета хаки. А парень будто этого и не сознает. Наверное, и впрямь не сознает: перетрудился на войне, позабыл обо всем на свете, даже о том, что минуту назад сходил по малой нужде. Да и зачем ему об этом помнить, когда перед ним, как в сказке, предстал израильский автобус? Это же везуха несусветная! Не надо искать попутку до Иерусалима, «тремп» подкатил прямо к его базе, и, следовательно, краткосрочный отпуск он проведет дома, а не на бесконечных перегонах, «голосуя» на дорогах.

— Возьмете? — спрашивает солдат.

И его берут. Берут еще одного. И еще, и еще... Они проходят сквозь автобус и устраиваются на заднем сиденье.

Мы выезжаем из Бейрута. Спускаемся вниз по извилистому шоссе. Идем вдоль моря, над обрывом, высотой с многоэтажный дом, за окном — пропасть, смотреть страшно...

А навстречу нам движутся танки. Широленные израильские танки. Поднимаются вверх по узкой дороге, по которой, казалось бы, не разъехаться и двум легковушкам. Ползут, надрывно гудя, чуть ли не задевая боками нависшую над ними скалу. Ползут мимо предместий города, мимо бывших опорных пунктов террористов, раскрошенных, раздавленных, смятых.

Мы смотрим на наши танки и слышим, как в гудение моторов вплетаются какие-то иные, совсем иные звуки, ничуть не отдающие скрежетом металла. Мы слышим носовой посвист, все усиливающийся и усиливающийся — перерастающий в храп. И разом поворачиваем голову, туда, на заднее сиденье автобуса, где угнездились наши попутчики — солдаты. Все они, укачанные в мягком кресле, спят в обнимку со своими автоматами.

Мирный храп прозаически перекрывает тяжелую танковую поступь войны...

Израильские солдаты устали от войны. Ежедневной, ежечасной. И может быть, во сне им представляется нечто новое, не виденное прежде в жизни — мир без войны.

Может быть...

Но как тут не повториться... «Все новое — это хорошо забытое старое».

В «забытом старом...» террористов во главе с Ясером Арафатом наглухо заперли в Западном Бейруте, потом показали его через оптический прицел по телевизору. Под прицелом снайпера Гриши он поднимался по трапу на борт теплохода, который увезет его в изгнание — в Тунис.

Это «забытое старое».

А что ожидать в «забытом новом»?

Выдачи ему, террористу номер один, Нобелевской премии за укрепление мира между народами?

Что ж, в этом случае муаровую ленту от золотой медали следует «украсить» гирляндой из гаек и болтов, выковыранных из разорванных на куски тел жителей Израиля, убитых, как и во времена холокоста, только за то, что они родились евреями.

## 16

До ближайшего городка с десятком километров, размеченных ухабами, рытвинами и крутыми поворотами. Вот и крутись, вот и продирайся под шестеренками похмельного синдрома туда-сюда, благо бензоколонка обязательно подвернется. Все же не на Луне пребываешь. На земле, обетованной, текущей молоком и медом по руслу, проложенному... сорокаградусной. Не отоваришься на бензоколонке, пиши пропало!

Разумеется, гораздо лучше, будь в поселковом магазинчике необходимое для укрепления здоровья зелье. Но — беда! — местные землепашцы, прослышав о появлении «гвардейцев из русского батальона», тотчас изымают достойные кряка напитки. С улыбкой, ласкающей сердце разве что их трактора, поясняют: «Отрава для желудка! Нам на эти бутылки тошно смотреть. А пить? И вы не пейте. Печень загубите!»

Солдатская, недовоспитанная поборниками правильного образа жизни печень изъясняется понятно и доступно. Хочешь не хочешь, но послушаешь ее и выпьешь. А если выпьешь, то и закусишь. Потом откроешь холодильник и посмотришь: что там сменщики оставили для нас.

Сменщики не пожадничали. Оставили.

Николай — на нерве — скорым взглядом окинул казарменное жилище: кухонька с мизинчик, комнатушка с фиго, четыре коечки-раскладушки плюс к каждой по тумбочке, на стене гитара с красным бантом. Помещение располагало к играм фантазии, как и запас продовольствия.

— Открывай! — сказал Юрчик.



— Я — пас, не пью, — Гриша, поясняя свое решение, похлопал ладонью по стволу винтовки.

— Ты? — обратился Николай к Славику.

— Я как все, но без Гриши.

— Логично.

Под благодатное бульканье Юрчик распотрошил содержимое консервной банки в пластмассовую тарелку.

— Написано «гуляш», а внутри... Муха!

К ржавым волокнам мяса прилипла зеленая тварь явно несъедобного назначения.

— Кормят, как на убой! — ввернул Славик.

— Ты еще разок выпей, для дезинфекции.

Юрчик выбросил в помойное ведро гуляш, поковырялся в картонной коробке с продуктами, сбоку от холодильника. Выстроил на столе шахматную композицию из консервных банок — шпроты, сосиски в томатном соусе, а напротив — огурцы, помидоры, баклажаны.

— Белые начинают...

— Хватит! — одернул его расторопность Гриша, снял со стены гитару, проверил настрой. — Мы — что? Жрать сюда приехали?

— Женушку твою выручать, — отозвался, хмыкнув в кулак, Славик.

— Выручать... — Гриша взглянул на наручные часы, — выручать еще рановато. По уговору, через час.

Юрчик согрел на сковородке сосиски с лопающимися пузырьками томатного соуса, плеснул на их глянцевые бока тройку яиц, принялся к жареву и — шелк над головой пальцами.

— Кушать подано!

— И выпить налито! — Николай с выверенной расчетливостью разменивал занозистую, достойную личного стопоря, по пластмассовым стаканчикам, имеющим свойство опрокидываться от перелива.

Юрчик похозяйничал у стола, сковородку пристроил на подставке, сосиски раскидал по тарелкам. Славик присыпал мясной деликатес укропом, накрошил лука.

— Как в ресторане. И калорийно, и зрелищно.

— Вздрогнем?

Но вздрогнуть пришлось от другого. От явления бойкого чертика с автоматом «узи», израильским, подчас самострельным.

— Барзель! — представился чертик. И брезгливо поморщился: — С этого начинаете?

— Мы начинаем со знакомства, — Николай протянул стакан гостю.

Тот решительно покачал головой.

— А я выпью, — сказала молодая женщина, сопровождающая Барзеля. Вся из себя индусского производства, но — вот ведь парадокс земли Иудейской! — сносно владеющая русским языком. — Мой муж был из Ленинграда, — пояснила, видя, как вытягиваются от недоумения физиономии новоиспеченных охранников поселения.

— Почему — «был»?

— Потому что нас убивают. Забыли? За то, что ходим по своей земле!

Николай переглянулся с Гришей. Эти слова им были памяты. В прошлом году они их слышали на похоронах приятеля-сослуживца.

Потом эти слова прозвучали по радио, в одном из хевронских репортажей Николая Вербовского.

Потом были погребены в памяти, чтобы сейчас так неожиданно оживить забытую уже сцену похорон. Хоронили — здесь, в этом поселении. А как проходили похороны, кто выступал, — это как-то выветрилось.

Все выветрилось, кроме слов: «Нас убивают здесь за то, что мы ходим по своей земле!»

Слова остались, а остальное выветрилось. И человека нет. Даже имени и фамилии память не сохранила. Только прозвище — Лешка из Питера.

— Так ты, значит, жена Лешки из Питера? — спросил Николай.

— Жена — да! Но... не мать его детей, — как-то странно отозвалась молодая женщина. — Он не оставил мне детей.

— Звать? Дай бог памяти... Мара?

— Вам можно и Машкой, как жену Высоцкого.

— И это знаешь?

— Он научил. Крутил Высоцкого и звал меня Машкой.

— Что ж...

— Помянем, — сказала Мара. И выпила. Совсем по-русски выпила водки. Одним глотком.

— А ты? — обратился Николай к Барзелю.

Тот опять покачал головой.

— Йеменец?

— Йес-Йес! Таймани! — отозвался сразу на двух языках, английском и иврите.

— За это и выпить не грех!

— Ноу-ноу, ло, нет! — тот выдавил из себя отказ уже сразу на трех языках.

Гриша изучал под гитарный перебор неуступчивого кандидата в собутыльники.

— Живописное полотно «Комсомолец на допросе».

— Шедевр соцреализма, — согласился Юрчик. — Коля, отстань от него!

— Но он ведь зачем-то пожаловал.

Мара, опрокинув стакан, уткнула нос в рукав блузки и сквозь подступившие либо от забористых градусов, либо от смеха слезы выговорила:

— Он к вам покомандовать пожаловал. Военный комендант нашего поселка.

— Йес-Йес, кен, да, — подтвердил Барзель. — С этого начинаете? А вам служить!

— Вы служите, мы вас подождем, — исполнил под гитару Гриша.

— Мы в утреннее время и днем. Вы — в ночное.

— Ха! На наших золотых, — Гриша отвернул рукав мундира, взглянул на бодрящие, с музыкой часы, будящие его на работу. — На наших золотых... До ночки-ноченьки целая вечность, «амон зман», как говорят на языке Соломона Мудрого. Но не тусуйся, «хавер им нешек», товарищ наш по оружию. Не подведем. Более того, вскорости заменим тебя и всю твою партизанскую гоп-компанию на боевом посту.

— У нас не партизанская. Из ваших сменщиков, резервистов, двое еще тут.

— Кто?

— Ицик Шторм и Изя Майер.

— Свои ребята! — откликнулся Николай. — Я с ними курс молодого бойца прошел, «тиранут» — по-здешнему.

— Где же они затерялись?

Мара пояснила:

— На обходе. Каждые два часа — обход поселения. Надо проверить, нет ли дырок в ограждении. А то палестинцы повадились к нам кур воровать. Мы строим птичник, — пояснила она. — Правильнее сказать, они строят птичник на наши деньги.

— Днем?

— Точно, днем!

— А ночью негласно лезут туда же, но уже не на работу? — пошутил Славик.

Мара шутки не уловила.

- Воровать лезут!
  - А пугнуть их выстрелом нельзя?
  - Стрелять нельзя. Вы разве не знаете правил?
  - Знаем, — сказал Юрчик. — Стрелять можно в том случае, если тебя убивают.
  - Не совсем убивают, — Мара не врубилась в тонкости русской речи.
- Барзель тут же включился в инструктаж.
- Пять правил открытия огня на поражение...
  - Знаем, знаем...
  - Я обязан вас официально с ними ознакомить. Слушайте!
  - А потом выпьем?
  - Вы потом выпьете. А сейчас слушайте.
- Гриша стал загибать пальцы.
- Первое...
  - Первое! Если в вас стреляют из пистолета, из винтовки...
- Гриша невозмутимо продолжил, взяв звучный аккорд на гитаре.
- Из базуки, из танка...
- Барзель гневно посмотрел на него, но не дождался сосредоточенного внимания. Раздосадованно сказал:
- Второе...
- Гриша взял еще один гитарный аккорд и заученно, но с долей иронии повел:
- Если тебя атакуют ножом, Барзель. Третье?
  - Третье!
  - Если у тебя вырывают из рук оружие. Четвертое тоже хочешь?
  - Помнишь?
  - Четвертое, чертик ты заводной, «самое нашенское»...
  - Доложи!
  - Если в тебя бросают бутылку с зажигательной смесью...
  - Чем же оно «самое нашенское»?
  - А тем, Барзель, что подчас не разобраться: зажигательная смесь в бутылке или незажигательная. Не все алкоголики.
  - Ну-ну, чтобы здесь мне без лишних выстрелов! А то нас в ООН потянут за уши!
- Николай усмехнулся:
- У него «лишних» не бывает. Выстрел для него — не рюмка.
  - Не понял?
  - Завтра, Барзель, поймешь, когда проспишься.
  - Я спать не хочу!
  - Тогда присаживайся. Правды в ногах нет. Посидим. Поговорим. Растрясем настроеньице.
  - Нам трести нечего!
  - Не яйца! — вставила Мара, причем на русский лад, и разом загасила чадливое пламя напряжения.
  - Вот-вот, не яйца! — Юрчик «сочинил» Барзелю достойный коменданта двухэтажный сэндвич. — Держи, казак, атаманом будешь!
- Тот, придерживав качнувшийся у бедра автомат, огорошенно посмотрел на свою спутницу.
- Она бегло прошелестела ему на каком-то наречии — не иврите — и будто вспрыснула успокоительного.
- Кошерное! Все у нас кошерное! — Юрчик тыркал ему в руку бутерброд с разрезанными вдоль сосисками, покрытыми листьями салата, кружками лука, огурцов, помидоров и вторым хлебом.

Николай авторитетно поддержал:

— Солдатская пища! Не гнусного домашнего приготовления. Рецепт — главного армейского раввина.

— Посуху в рот нейдет! — уточник Юрчик. И уговорил Барзеля.

Тот захрумкал корочкой, зачмокал сочным мясом, «родом» из породистого индюка. Но язык — говорун надоедливый — не проглотил от удовольствия. Ворочал мало-вразумительные слова из Устава караульной службы, выталкивал их наружу.

— Я тут военный комендант. В субботу...

(Очевидно, для желающих сходка на молитву в местной синагоге.)

— Ситуация чрезвычайно серьезная! В связи с войной в Ливане в поселении повышенная боевая готовность. Инструкции на случай нападения террористов...

(Но инструкции покатались на побывку к желудочному соку.)

Запершило у Барзеля в горле, раскашлялся.

Гриша, оставив гитару, поспешно сунулся к нему с пластиком, наполненным до краев прозрачной жидкостью.

— Запей свои распоряжения!

Барзель спазматически схватился за стакан, и хватать машинально до упора.

— Водка! — ахнул, но было уже поздно.

— Кошерная, не трепещи! — ввернул Николай багровеющему Барзелю, судорожно хватающему воздух пальцами. И по-приятельски подмигнул его напарнице. — Правда! Подтверди человеку.

— Правда! Подтверждаю! — сказала на иврите Мара.

— Ты ему кто? Любовница?

Мара отрицательно мотнула головой.

— Вот и славно!

— А что?

— Такой красавице, девушка, нет никакого смысла паковать себя в его объятия.

— Эй! — прикрикнул на «ухажера» Гриша. — Не мостись по ее адресу! Забыл? Она Лешкина жена.

— Именно это и помню.

— Так что никаких заигрываний!

— Принято под расписку о невыезде, — Николай шаловливо взял под козырек и тут же посерьезнел, видя, что Барзель выходит из пике и драчливым петушком подступает к Грише.

— Зачем это ты?

Гриша, не реагируя на его воинственность, которая через несколько минут должна была смениться сонливостью и апатией, участливо спросил:

— Отдышался? Или неотложку вызвать?

— Голова побежала.

— Ничего, соснешь часок и нагонишь.

— Мне спать нельзя! Я должен вас проконтролировать!

— Нас не надо контролировать.

— Вы пьяные!

— Ни в одном глазу!

— Врешь!

— Не веришь, чертик ты заводной?

По Барзелю сложно было понять — верит он или не верит. Губы растеклись в глупую ухмылочку. В густых, антрацитовых зрачках снежно мигали хмельные звездочки, будто выхваченные с коньячной этикетки.

— Не верит, — не менее глупо ухмыльнулся и Славик. Но ему позволительно: выпил раза в три больше.

— Не веришь, — с горечью повторил Гриша. — Проверяешь, наставлениями пичкаешь. Будто мы неграмотные. Будто не прочтем. Вон там, на стене, чертик ты заводной, все ваши инструкции. Прикноплены, разрисованы, как стенгазета в пионерлагере. И прочтем, и раскумекаем! И резолюцию наложим. Как? А вот так! Посмотри и увидишь, если тебя не близорукая мама родила, — повернулся лицом к Николаю. — Коль, а? Покажем?

— Честь имею!

Славик не удержался, добавил:

— Слышь, Мара! И по пьянке честь имеет.

— Молчи, балабол! — сказал Николай, вытаскивая из ножен на поясе финку-самокалочку. Медленно, со вкусом, примечая настороженный, как у таежного зверька, взгляд Мары, повел вытянутую руку по диагонали вверх.

Упреждая бросок, затянул враспев, на манер балаганного зазывалы:

— Обратите внимание на дамочку. Нет, не на Мару, а на ту, что на плакатике, над инструкцией по открытию огня на поражение. Видите? И я вижу. Вижу, что пуговичка на бретельке купальника расстегнулась. Не пора ли ее опять застегнуть?

Вытенированный всплеск кисти. И отточенное лезвие точно вонзилось в пуговичку, изображающую себя маленькой ромашкой на лямке рекламируемого пляжно-сексуального безобразия.

Барзель попробовал было отметить цирковой трюк хлопком в ладони, но его качнуло, и он виновато ухватился за автомат, чтобы удержать равновесие. Но автомат — не придорожный столб.

— Аплодисментов не требуется! — подхватил его Гриша.

— Укатали молодца сивые горки, — вспомнила Мара русское присловье, перенимая у Гриши коменданта поселка. — Сейчас его отведу домой, а потом вернусь.

— Мы полны ожидания, девушка. Но не торопись. Не первое свидание.

— Я не о свидании. Я вас по территории должна провести, познакомить с местными условиями.

— Хорошо. Но торопиться не следует.

Николай:

— Нам когда заступать?

— Ближе к ночи.

— Ближе к ночи и подходи.

Славик добавил:

— Девушки всегда — на ночь глядя — смотрятся сексапильнее.

— Скажете...

Николай:

— Мы скажем, а ты — Лешкина жена — должна нас понимать. До вечера?

— До вечера!

Мара перевесила автомат Барзеля себе на плечо и потащила его, неупрямившегося, наружу из казарменной бетонной коробки.

— Ты не волнуйся, Барзель. Иди отдыхай. Тебе — чуть свет — в Бер-Шеву. А им... Им — развлечение. Милуим для них — удовольствие. Пусть развлекаются.

— У меня голова бежит! — канючил Барзель.

— Пьян ты, братец, вот и бежит голова. А ты потерпи. Не гонись за ней. Она сама к тебе завтра вернуться.

— Откуда знаешь?

— От Лешки из Питера...

17

— Теперь работаем! — сказал Гриша. — У меня есть укромное местечко на крыше. Сектор обстрела — как на полигоне. Коля!

— Я выхожу за ворота. На переговоры.

— Сигнал к открытию огня?

— Если кепи засуну под погон.

— Принято. Но лучше не доводи до этого. Славик!

— Я в сторожевой будке, у ворот. Для прикрытия.

— Юрчик!

— Мне бы лучше с тобой остаться, Гриша. Чтобы их не раздражать своим видом. Не то запросят пятнадцать кусков.

— Принято! Время пошло. За работу.

— А вон и Мессия их на белом осле, — Славик ткнул пальцем в окно, выходящее на автомобильную стоянку у въезда в поселение.

— Это не Мессия. Это моя женушка на их осле, — уточнил Гриша.

Николай:

— И два архангела по бокам...

Юрчик:

— Без крыльев...

Гриша:

— Ножи у них вместо крыльев. За работу, хлопцы!

Выйдя из бетонного короба, Николай передал винтовку Славику. Поднял руки, показывая, что не вооружен, вышел через турникет за ворота, оставив напарника в сторожевой будке, пустующей в дневное, «безопасное», время.

— И-Ра! — произнес с укоризной враспяжку.

Ивритская игра слов, означающая по-русски «Остров ужаса», не произвела заметного эффекта.

— Ты сомневался? — как-то заторможенно отозвалась Ирочка, одетая в домашний халат, схваченный в талии матерчатым пояском.

— С тобой все в порядке?

— Заберите меня поскорей...

— За этим и приехали.

— Только не торгуйтесь, — произнесла Ирочка с той же вялостью, будто заученный до надоедливости урок. — Отдайте, что просят. А то убьют.

Ирочка наклонилась к одному из арабов — тому, вчерашнему, по имени Ахмед, который схватил по зубам. Что-то сказала ему, он кивнул, снял ее с осла, подвел ближе к Николаю и приставил нож к горлу.

Второй араб, назвавшийся при ночной встрече Юсуфом, вышел вперед.

— Деньги!

Николай отдал ему конверт.

Юсуф послунывил пальцы, пересчитывая сотенные банкноты. Недовольно поморщился.

— Вторая половина? Тут пять тысяч.

— Вторая половина — натурой.

— Что?

— Вот вам моя «субару», иномарка — класс! Вот ключи от машины.

Рэкетеры переглянулись. Соблазн великий — не устоять. Самая ходовая тачка в Израиле.

- Дают — бери! — сказал Юсуфу араб, держащий Ирочку, и поволок ее к машине.
- Ты куда? — не удержался Славик, высунулся из окна будки.
- Женщину получишь потом.
- Какое «потом»? — Славик взял его на мушку.

Ахмед пояснил:

— Ваша женщина будет ваша! Через сто метров. А сейчас она наша гарантия. Отъедем и высадим — там, у дерева. Понятно?

Он шлепнул осла по крупу, и послушное животное, прядая ушами, повернулось мордой к арабской деревне, виднеющейся внизу за проселочной дорогой, и медленно двинулось в путь.

Славик недоверчиво перевел глаза на Николая.

- Коля?
- Чего тебе?
- Они же Иришу увезут. И — с концами
- Молчи, художник, хватит мазать маслом! — и произвольно сыронизировал: Концы у них такие же, как у нас. Обрезанные.

— Нашел где шутить!

Шутил ли в действительности Николай или просто затягивал время, давая рэкетирам возможность без помех занять место в машине, однако когда Славик собрался передернуть затвор, было уже поздно предпринимать какие-то действия.

Мотор взревел, и «субару» дала задний ход, разворачиваясь.

Но странное дело! Разворот у нее получился какой-то безостановочный, и «японка» по дуге вкатилась в сетчатую решетку ограждения, где и замерла, будто попала в тенета.

- Что это с ними? — пораженно застыл Славик.
- Ливанский патент! — невозмутимо ответил Николай.
- Какой патент?
- Ливанский патент — производства советской секретной оборонки!
- Не чуди, Коля.

— Противоугонное средство. Усыпляющий газ. Русские поставляют его в Ливан палестинцам для каких-то диверсионных целей, а эти хитроманы приспособились на нем «варить капусту». Включишь зажигание без уговора с владельцем тачки — и баюшки-баю! Пойдем...

- И долго они будут спать?
- Как положено, до первых петухов — минимум!
- А Ириша?
- Она тебе нужна вместе с ее истерикой?
- Мне она вообще не нужна.
- Вот поэтому и отвезешь ее к мамочке.
- Не городи!
- Карета подана. План обговорен во всех деталях. И подписан Гришей.

Запасным ключом Николай открыл дверь, вывалил на землю безвольные тела арабов, уложил Ирочку поперек заднего сиденья, укрыл ее пледом. Огляделся — куда бы перетащить «усатеньких», чтобы очухались мало-помалу в тенечке под кусточком. Хотел положить их на клумбу, но тут увидел: осел возвращается назад, словно почувствовал — нужна тяговая сила. Загрузил хозяев на их ходячее имущество, предварительно вытащив конверт с долларами и мощно — кулаком в зад — отправил преданное животное восвояси.

- Славик! — пригласил товарища за руль. — Катись!
- Но мы так не договаривались. Барзель подумает, что я дезертир.

— Ничего он не подумает. Ему утром — слышал? — в Бер-Шеву. А сейчас он пьян. Спит себе. И ничего не думает, и ничего не помнит.

— А ты, Коля? Ты? — на психе сказал Славик.

— Я не пьян!

— Думаешь?

— Думаю!

— А помнишь, что думаешь?

— Помню! Я помню... Вспомнил, — поправился он, — Сегодня, Славик, оказывается ровно год, как зарезали Лешку из Питера. Там... В Хевроне... Эти... сволочи...

— О Лешке вспомнил — хвалю! А о ружье ты со своей пьяной памятью забыл...

— Ружье отдай дяде, а сам иди к... Катись, Славик! У меня нервы не заемные. Все договорено с Гришей. Тебе к тому же картину дорисовывать. Сам говорил: заказчик ждет.

Проводив сослуживца вместе со спящей красавицей, Николай направился в сторожевую будку, располагающую телефоном-вертушкой. Покрутил ручку, дозвонился, назвав пароль, через коммутатор до Иерусалимской редакции радио, попросил Эфраима Рона.

— Шалом, Ефим-Эфраим! Ты на выпуске передач?

— Я.

— Слышь! Хочу тебе напомнить, сегодня годовщина гибели Лешки из Питера. Помнишь, об этом было в прошлогоднем репортаже из Хеврона — «Гробница Адама и Евы»? Нельзя ли повторить?

— Минутку. Да он и стоит в расписании. Как раз на сегодня.

— Когда пойдет?

— В радиожурнале «Вечерний калейдоскоп». Да, кстати... Уже есть отклики на мой очерк о дедушке Авруме.

— И что?

— Нашелся человек, который лично знал твоего отца Моисея Вербовского.

— Папу?

— Да-да, твоего папу. Просил связать тебя с ним.

— У него есть телефон?

— Нет, телефон не дал. Сказал, что зовут его Моня с Молдаванки...

— Знаю, — перебил Николай. — Это такой боксерский полустаричок, в приталенной рубашке...

— Лично я его не видел.

— Живет в Иерусалиме, рядом со мной — в Гило.

— Точно!

— У него еще есть боксерский клуб «Алуф».

— Все так.

— Кладбищенский знакомец! Я с ним повстречался на похоронах Трайгера. Кто такой? Не знаю. Его старый приятель. По войне еще...

— Вот-вот, и твой отец... тоже, получается, с ними воевал.

— Когда? В сорок первом он пропал без вести.

— В том и фокус, Коля, что не пропал. Воевал, получается, с Моней этим... и с Трайгером... до самой Победы воевал... Вот как получается. Ты разберись.

— Я разберусь... — слезы подступили к горлу, и Николай положил трубку. — Разберемся с этими арабами, а потом разберемся и с папой...

Непроизвольно рука его потянулась к фляжке на поясе. Нужно было успокоиться. И он успокоил себя изрядным глотком коньяка.

Издали донеслось:

— Служили два товарища, ага.



- Служили два товарища, ага.
- Николай выглянул за дверь, отозвался на голоса:
- Служили два товарища в одном партизанском полку.
- Бах-бах, и ваших нет — ага! — подвалил Гриша, пожал руку. — Спят башебузики?
- До утра, думаю, гостей ждать не придется, — сказал Николай. — Доза лошадиная.

## 18

К вечеру Николай был уже в легком подпитии. Поэтому и выставлялся в своем расположении к прекрасному полу.

Мара позвала его пальчиком, и он пошел из казарменного кубаря, пошел от стола с угощеньцем, не доведя себя до кондиции при встрече с Ициком и Изей, друзьями по «тирануту» — курсу молодого бойца.

Пьяному — раздолье. Пьяному, как толкуют в скрижалях трезвенники, море по колено, а звездный окоем — всего лишь разброс не собранных в букет цветов. Подпрыгнуть бы, ухватиться за стебелек и вернуться на землю... С чем? А хоть с луной! Пусть себе скалит вполнебав кровавой чеканки рыло, мы ее одним махом — раз, и...

Чем не ромашка? «Любишь — не любишь?».

— Любишь, — сказала Мара.

— Что?

— Любишь, — повторила Мара. — Жизнь ты любишь.

Мара подобрала руки к груди. И блескучие нити тумана, самые свежие, разноотенчатые, только что сработанные небесным веретеном, обвили подол ее юбки.

Николаю почудилось: и она просто кружево нарастающего тумана, и ею движет тот же неосязаемый пока еще ветерок. Дико! Призраков он навидался, включая и принимающих вроде бы настоящую оболочку. А тут живое, телесное, оборачивается прозрачной тканью небытия и вспыхивает, как отравленное бредом сознание, образами какой-то давней жизни, меняется на глазах, юность превращая в старость. Но не уловить! Не увидеть завершенности. Текучее все, расплывчатое.

— Мы были знакомы? — спросил.

— В прежней жизни.

— Откуда знаешь?

— Коля, я все о тебе знаю от Лешки из Питера.

— И про мою прошлую жизнь? Про войну, когда я был в партизанах?

— Нет, я говорю не о прошлой жизни. О прежней.

— Это — что? Еще до новой эры?

— Скажем, так. Реинкарнация.

— И кто я был? Авраам? Исаак? Яков? Моисей? Царь Давид?

— Не Авраам и не Исаак. А был ты, как вычислил Лешка, Соломон Мудрый.

— Очень интересно! — со всем возможным сарказмом отозвался Николай. — Ты в этом случае?

— Царица Савская, твоя жена!

— А кто он такой, Лешка, чтобы приписывать мне лишних жен?

— Мой муж.

— Это, положим, мне и так известно.

— Доктор математических наук. Забыл?

— Я в математике не силен. Помню, он говорил, что вместе с Ильей Рипсом, математиком из Риги, ведет какие-то вычисления в Торе. Определяет ее тайные коды.

— Это на первом этапе. А потом он сумел вычислить, кем рождались впоследствии Моисей, царь Давид, Соломон.

— Хорошо, Мара. Будем считать, что я попался на твою удочку. Пойдем к тебе?

— Пойдем.

«Может быть, я неправильно ее понял», — подумал он. Но через пять минут выяснилось: понял он все правильно.

— Вот мы и пришли. Я здесь живу.

Ухищренность чувств разбилась о прямодушие.

Николай стоял у освещенного изнутри бетонного одноэтажного здания, похожего на дот, с занавесками на окнах-бойницах, с обморочными, под окраску дома, розами, снуло покачивающимися в гробиках-ящичках на пристеночках.

— У тебя кто-то есть?

— Никого.

— Я про свет в квартире.

— А-а... У нас дизель работает круглосуточно.

— А радио?

— Радио? Радио тоже. У всех в Израиле радио работает. Война.

— Тогда... — Николай посмотрел на часы. — Тогда... Ты меня приглашаешь?

— Пойдем ко мне. Пойдем...

— Пойдем... послушаем радио, — как-то неловко, вроде бы для самооправдания сказал Николай.

### **Отступление седьмое.**

### **РЕПОРТАЖИ С УЗЕЛКОМ НА ПАМЯТЬ**

### **ГРОБНИЦА АДАМА И ЕВЫ**

Строки из Библии...

#### **ГЛАВА 23**

1. Жизни Сарриной было сто двадцать семь лет: вот лета жизни Сарриной.

2. И умерла Сарра в Кириаф-Арбе, что ныне Хеврон, в земле Ханаанской. И пришел Авраам рыдать по Сарре и оплакивать ее.

3. И отошел Авраам от умершей своей и говорил сынам Хетовым, и сказал:

4. Я у вас пришлец и поселенец: дайте мне в собственность место для гроба между вами, чтобы мне умершую мою схоронить от глаз моих.

5. Сыны Хета отвечали Аврааму и сказали ему:

6. Послушай нас, господин наш, ты князь Божий посреди нас, в лучшем из наших погребальных мест похороним умершую твою, никто из нас не откажет тебе в погребальном месте, для погребения умершей твоей.

7. Авраам встал, и поклонился народу земли той, сынам Хетовым:

8. И говорил им и сказал: если вы согласны, чтобы я похоронил умершую мою, то послушайте меня, попросите за меня Ефрона, сына Цохарова,

9. Чтобы он отдал мне пещеру Махпелу, которая у него на конце поля его, чтобы за довольную цену отдал ее мне посреди вас, в собственность для погребения.

10. Ефрон же сидел посреди сынов Хетовых, и отвечал Ефрон Хеттеянин Аврааму вслух сынов Хета, всех входящих во врата города его, и сказал:

11. Нет, господин мой, послушай меня: я даю тебе поле и пещеру, которая на нем, даю тебе, пред очами сынов народа моего дарю тебе ее, похорони умершую твою.

12. Авраам поклонился перед народом земли той,

13. И говорил Ефрону вслух народа земли той, и сказал: если слушаешь, я даю тебе за поле серебро, возьми у меня, и я похороню там умершую мою.

14. Ефрон отвечал Аврааму и сказал ему:

15. Господин мой! послушай меня: земля стоит четыреста сиклей серебра, для меня и для тебя что это? похорони умершую твою.

16. Авраам выслушал Ефрона, и отвесил Авраам Ефрону серебра, сколько он объявил вслух сынов Хетовых, четыреста сиклей серебра, какое ходит у купцов.

17. И стало поле Ефроново, которое при Махпеле, против Мамре, поле и пещера, которая на нем, и все деревья, которые на поле, во всех пределах его вокруг,

18. Владением Авраамовым пред очами сынов Хета, всех входящих во врата города его.

19. После сего Авраам похоронил Сарру, жену свою, в пещере поля в Махпеле, против Мамре, что ныне Хеврон, в земле Ханаанской.

20. Так досталась Аврааму от сынов Хетовых поле и пещера, которая на нем, в собственности для погребения.

\* \* \*

Гробница библейских патриархов воздвигнута царем Иродом над пещерой Махпелой за четыре года до нашей эры. Из того же иерусалимского камня, что и Стена Плача. Ни износа ей, ни забвения.

Хеврон... Махпела... Вечность...

В зале Ицхака и Ривки (Исаака и Ревекки) — там, где молятся на коврах и голом полу арабы и евреи, — зацементированный лаз в подземелье. Над ним — жерлом допотопной пушки — медная труба. Встань перед ней на колени, ложись лицом на высверленные отверстия, и — острым блеском костей мигнет дно пещеры. Но если не повезет в первую секунду, то сколько потом ни вглядывайся, не будет никакого вознаграждения утомленным глазам — мгла, едва уловимое смещение контуров и затхлое дуновение древних пергаментов. Что это? Запах иссохшей человеческой плоти?

Старый араб Мустафа говорит: это язык мертвых. Мертвые, говорит старый араб, разговаривают с живыми на языке запахов.

Но можно ли верить Мустафе?

Французским туристам он втолковывал: арабская нация самая древняя в мире, а учение Мухаммеда, пророка Аллаха, породило иудаизм и христианство.

Старый араб продает у входа в гробницу библейских патриархов и пророков, где — по преданию — нашли последнее земное прибежище также Адам и Ева, украшения из дешевого белого металла. Подслеповатым его глазам они почему-то представляются серебряными изделиями из сокровищницы царя Давида... или Соломона... или Ирода... или Понтия Пилата — в зависимости от образовательного ценза и антикварных изысков экскурсантов.

Можно ли верить Мустафе?

Французский еврей Давид, переписчик Торы, приносит к центральным воротам гробницы книгу «Зогар» и читает стоящим на посту сорокалетним солдатам-резервистам — в Израиле их зовут «милуимники» — любопытный абзац о грядущем воскресении покойников.

«И восстанут из праха»... Поясняет: у каждого в затылочной части головы, у основания черепа, имеется некая косточка, которую даже мельничному жернову не перемолоть в муку. Вот из нее-то и произрастет человек после смерти.

Бородатые резервисты-милуимники — доктора наук, технари, журналисты — вспоминают о генной инженерии, стойкости костной ткани, антропологических портретах профессора Герасимова. К ним, источающим запасы эрудиции, активно жестикулирующим, присоединяется гладко выбритый усатенький патруль в составе таксиста,

продавца фруктов с рынка Кармель и директора школы для трудновоспитуемых подростков. И генная инженерия подвергается сомнению. А антропологические портреты профессора Герасимова — осмеянию.

Можно ли верить Давиду?

\* \* \*

Хеврон — один из четырех святых городов Израиля. Здесь всегда жили евреи. Сегодня они живут неподалеку от Хеврона — в Кирьят-Арбе, за железными воротами, охраняемые армейским заслоном.

Арабские дома сходят по кругу с горных уступов к Кирьят-Арбе, втискивают ее в металлическое кольцо из заборов и колючей проволоки. Выйдешь за предел без оружия — нож в спину. Выйдешь с оружием — камень.

...Солдат-резервист Лешка из Питера, вернувшийся из отпуска в Хеврон, вышел из автобуса за пределами очерченного круга. Удар в спину ножом. Тяжелое ранение. И медленное угасание жизни в глазах.

Русский репатриант Гриша оказал ему первую помощь. Затем оттянул затвор скорострельной американской винтовки М-16. Прозвучали выстрелы. И над мечетями вспорхнули жирные голуби. Лениво шевельнули крыльями — и вновь под карниз, в тень, подальше от солнца, туда, где их пожирают змеи, охочие до белого голубиного мяса. Как змеи взбираются на этакую верхотуру, нацеленную из средневековья в космос? Смотрители гробницы Адама и Евы, одетые в кремовую форму цвета иерусалимского камня, не говорят. Однако каждую пойманную гадюку запускают с лукавой улыбкой в пластиковую бутылку из-под кока-колы и выставляют в общем зале, у своих вымытых перед молитвой ступней, на цветастом ковре, том ковре, на который не имеет права ступить ни одна еврейская нога. Внутренний патруль оберегают их от евреев. И выслушивают оскорбления от ретивых ортодоксов.

- Мы молимся — арабам путь открыт. Арабы молятся — нас гонят взашей.
- Почему евреям закрыт доступ в зал Ицхака и Ривки, когда здесь молятся арабы?
- Где справедливость?

\* \* \*

Справедливости нет. Есть устав и секретные распоряжения командования: не обострять религиозную нетерпимость! За счет евреев, разумеется.

И устав, и секретные распоряжения известны всем — во всех подробностях. И нашим, и вашим известны.

Туристам и поселенцам легче. Для них устав не писан. Их устав — расторопность, смекалка и инстинкт самосохранения.

Лешка из Питера, выйдя из автобуса, засек краем глаза двух молодых арабов с ящиком, полным кур. Но не насторожился. Он шел по улице, арабы за ним. В восьмидесяти метрах от него — армейский пост. Это он знал, знали это и арабы. Нож извлечен из ящика. И — бросок вперед. Подлый удар сзади. Еще удар. Лешка — за пистолет, что в открытой кобуре на боку. Но поздно. Рукоятка выскользнула из окровавленной ладони.

Ориентировка: совершено нападение на солдата-резервиста. Ему нанесены ножевые ранения в спину, грудь, голову, руку. Террористами похищено личное его оружие — пистолет российского производства — «макаров» за номером 223245. На поиски бандитов выделить всех свободных от караульной службы.

И звуки тревожной sireны накладываются на гнусавые завывания муэдзинов.

А в казарме, шнурующей ботинки, натягивающей каски и бронезелеты, колобродят слова с англо-русским акцентом: «Хасам Касба! Хасам Касба!»

Касба по-арабски — центр города. Но из-за того, что кинут нас в центр арабского города, никому не легче. Безмятежная жизнь, если она бывает у резервистов, видать по всему, закончилась, пока не поймают террористов, не найдут украденный пистолет.

— Хасам Касба, чтоб тебя!

И следом приказ: «Отпуска отменены!», и не ко времени: «А у меня коньяк во фляжке. Остался с ночи. Не выливать же! Как теперь я проторчу целый день на солнцепеке без воды?»

Хеврон, если не закапываться глубоко в историю, «знаменит» еврейским погромом 1929 года. Выжившие — теперь глубокие старики. Их дома, окружающие гробницу праотцев, ныне принадлежат арабам, тоже старикам, не посадившим здесь ни одного дерева, выгуливающим коз и баранов в городском парке, между Махпелой и синагогой, в ста метрах от священных залов, куда босиком и вымыв ноги.

Залы пусты. Хеврон закрыт. Хасам Касба!..

Начинается день. Один из многих. День крови и слез. Градопада камней и спонтанного русского мата.

\* \* \*

Майор Пини — сорок восемь израильских лет, пружинистая походка, ермолка на голове — вводит в раствор Касбы свое разношерстное воинство, интернациональное по духу и внешности, еврейское по существу.

— Рассредоточиться по обе стороны улицы! Интервал три метра!

Рассредоточились со сноровкой. «Русский» в паре с «русским». «Грузин с грузином». «Индус с индусом». «Американец с американцем».

Ицик Шторм, бывший офицер милиции, басит:

— В милуим идут только русские и фраера.

— Точно! — подхватывает толстенный, многоведерного объема, аргентинец с но-стальгически звучащей для нас фамилией Смирнов.

Бедолага, много раз доказывал «русским», что он чистокровный еврей, потом не выдержал:

— Я внук водки Смирнофф — оф-оф!

И «русские» уважили аргентинского «мужика» — приняли за своего. В особенности расположился к нему друг мой сибирский Мишаня Гольдин из малоизвестного даже географам города Киренска. Мишаня тоже оказался однофамильцем водки, самой популярной среди русскоязычных солдат Израйля, — «Голд». Правда, Смирнов, в отличие от Гольдина, обманул наши ожидания: не брал ни граммульки сорокаградусной, стервец!

Религиозный старик Аарон Коэн, которому предписаниями иудаизма запрещено входить в гробницу предков, следовательно и нести там караульную службу, поспешает на чугунных ногах за «аргентинцем» Смирновым и готовит издевательскую для нашего уха фразу — нечто о виллах и «вольво»: мол, не успели эти «русские» приехать в Израиль, как сразу приохотились к особнякам и дорогим иномаркам, покупаемым за полцены, на льготных для репатриантов условиях. Не то, что он и прочие первопроходцы, кровь проливающие за святую землю на шестидневной войне, и на войне Судного дня, и на всяк прочей войне, не счесть уже какой...

Но суровый инженер из Питера с не менее суровой немецкой фамилией Зелигер придерживает ветерана израильских войн, перенесшего нелюбовь к русским танкам

на репатриантов из сталелитейного государства, где металла на душу населения больше, чем в Израиле булочек с маслом.

— Не нарушать дистанцию!

\* \* \*

Мы запираем Касбу на живой ключ из солдатской плоти. Запираем от внешнего мира. Внешний мир для Хеврона — это Израиль и настырные журналисты. Я сам журналист. От меня не запирают ни Касбу, ни Хеврон. Я — вне конкуренции.

Касба закрыта. Патрули разбросаны по всем перекресткам.

Если не считать животы и седину в бороде, выглядим мы довольно браво. Каски с поднятым плексигласовым щитком, предназначенным защищать физиономию от метко пущенного из пращи камня. Бронежилеты. Американские скорострельные винтовки М-16. На стволе — насадка для стрельбы резиновыми пулями. На ремешке, у пояса — гранаты со слезоточивым газом. Послюнил палец, и проверяешь направление ветра — на всякий случай. Убеждаешься, как в истории с бутербродом: ветер всегда в твою сторону. И выпячиваешь грудь: «Постерегись! у меня граната!»

Но что толку от этой гранаты? Нож при таком ветре надежнее. А нож — у врага за пазухой, рядом с похищенным пистолетом. Своей пули не слышишь. А ножа своего не заметишь. Носят нож — я о профессионалах — в рукаве, на резинке, как и мы в детстве, когда играли в казаков-разбойников. Дерг кистью — и рукоятка в изгибе пальцев. Рывок руки — и наступает мгновение стремительного змеиного укуса.

За спиной — магазинчик, где режут кур со сноровкой. Ножичек там в правильных руках и пляшет, подлец, безостановочно. Только и слышишь «чик» да «чик», затем слабые вскрики птиц с перерезанным горлом и жадное до жизни трепыхание крыльев. Справа от тебя, метрах в ста, Мишаня Гольдин, слева, на том же удалении, Мендель Шварц. Сзади «резчик по живому горлышку» с неутомимым лезвием. Впереди... О, господи, начинается!

Навстречу тебе, на твой автомат, прет народ с покупками и желанием непременно прорваться через заслон. Детки напротив тебя собираются в кучку и делают вид, что играют в камешки. Минута-другая, и выясняется: все они живут тут, за углом, в соседнем доме, каждому нужно позарез в свою квартиру, на кухню, в ванну либо туалет — покушать, попить, отдохнуть, пописать, покакать. А ты — негодяй! пес сторожевой! — встрял шлагбаумом поперек их дороги к большой и малой нужде, к семейному счастью и утолению аппетита.

А дорога — шириной в один «мерседес». Не развернешься на ней, не объедешь. И по ней, продавливаясь меж замолкших домов, грядет неприятность в виде вполне серьезно беременной женщины с сосунком на руках.

Поначалу прибегаешь к фантазии:

— Туда нельзя! Там... там сейчас заминировано!

Неприятность твоя молча отходит к товаркам, пребывающим еще в девическом состоянии и посему небеременным. Товарки подзуживают подругу: чего тебе терять? Ты уже беременна, значит, и карты в руки, хоть и заняты они сосунком.

И вновь с угрозой поднимается живот — как булыжник пролетариата.

А позади, в магазинчике, лезвие вжиг-вжиг, и запоздалое кудахтанье, и пикантный — не для твоих ноздрей! тебе его сторониться надо! — запах свежей крови. Пусть куриной, но крови... живой крови, зажигающей звериные инстинкты

Поднимается живот, угрожающе поднимается. И шажки под ним мелкие, сторожкие, но ужасно скрипучие. Зачем только носят эти женщины в такую жару — поди, градусов тридцать — туфли на каблуках? Дырявят гудрон, портят обувь и — скрипят, скрипят...

А над туфлями — оскал, белки глаз и множество слов о младенце, который — именно в этот момент! — описался, обкакался, взопрел, окостенел, окосел, обмишурился, отоварился и вообще ненавидит с рождения всех вас, «олим хадашим ми Руссия» — новых репатриантов из России, понаехавших сюда от белых медведей с Невских проспектов, Арбатов и Домских площадей.

А за туфлями — еще туфли, еще туфли, еще... На таких же каблуках. На таких же скрипучих подошвах. Над ними — упрятанные в одежды ноги, над ногами — упрятанные в одежды бедра, груди и лица, но иной, не молочной упитанности, не сопровождаемые младенцем.

И — говор, говор, говор.

И тут — творческое, спонтанное, питающее белых медведей на Невских проспектах... и на Арбатах, и на Домских площадях...

— Ани командос Руси ми Афганистан! — кричу, делая тут же для самых сообразительных подстрочный перевод на язык моей «Азбуки» и «Родной речи». — Я русский командос из Афганистана.

Русские из Афганистана для них — гяуры, что тоже требует перевода. А перевод в их понимании звучит приблизительно так: «иноверцы-христиане, резавшие мусульман без счета». Стоит арабу различить «Руси» в стыковке с «Афганистан», как он становится тише воды.

Беременная неприятность, услышав крики предостережения — «Ани командос Руси ми Афганистан!» — уже не грозит вздутым животом, а товарки ее подбирают юбки и по пыльной мостовой трусят к другому перекрестку, оккупированному уже не русскими израильянами, способными утихомирить и Соловья-разбойника, а восточными усатенькими побрательниками — с виду более толковыми.

Толковые побрательники, восточного вида и повадок — выходцы из Йемена, Алжира, Египта, Марроко, — хоть и знают в большинстве своем арабский с детства, но с женщинами не заигрывают. Вдруг пустые слова — это оскорбление чести и нравственности девичьего сословия? Обвинуют, потом доказывая трибуналу, что ни сном ни духом.

Поэтому толковые побрательники, без ссылки на Афганистан, используют наш прием:

— Ты понимаешь по-русски?

Женщины в закуток и давай лупить глазами по откормленным усатеньким мордам. «И эти оттуда?» Трудно мыслить, когда в мозгу стереотипы: русский — это голубые глаза, светлые волосы и в каждом кулаке — по нокауту.

А эти что-то не похожи. Но ведь говорят, говорят по-русски! Толковые побрательники на службе резервистов время зря не теряли: начиналась большая репатриация евреев из бывшего Советского Союза, принесшая Израилю еще один миллион жителей, а им, резервистам-милуимникам — на гражданке бизнесменам, директорам школ, владельцам ресторанов, лавочек, — новых друзей, учеников, работников, покупателей. Вот они, думая наперед об общих интересах, то бишь о будущем страны и своих барышах, изучали язык Пушкина и Бунина по первоисточнику, полагаясь на не вполне квалифицированных преподавателей. Набор освоенных ими у товарищей по оружию слов был довольно убог и запросто позволял схлопотать по роже даже при невинном флирте. «Ты меня уважаешь? Пойдешь трахаться?» — спрашивали они женщину при первой встрече. До второй, как правило, не доходило. Но виноваты не они? Нет, не будем о великих знатоках языка Пушкина и Бунина из Козлодойска, подшучивающими над соплеменниками из восточных стран, которым ныне явно не до флирта. Они прибегают сейчас к русскому лишь по одной причине, чтобы обескуражить — напугать толпу, сдержать людское наводнение. Стрелять запрещено даже в воздух.

Волнами вздымаются женские бюсты. Негодованием исходят дети. Будь тут съёмочная камера — крути на пленку сюжет и продавай зарубежной телекомпании за большие деньги. Всё, до старательного детского плача, срепетировано, отлажено загодя невидимым режиссером. Но камеры нет. И детишки плачут по инерции, сначала будто бы естественно, потом не совсем серьезно, просто для баловства. Надо же плакать, когда рядом израильские солдаты. Впрочем, и без слез, их понять можно. На головах у пацанчиков подносы с питами и бейгале — своего рода хлебцами и крендельками. Их необходимо срочно распродать, иначе зачерствеют. Они продали бы свой товар и нам, но солдатам не рекомендуется покупать у них что-либо съестное. Отравят на раз, и случаи подобные — не пропагандистская выдумка. Вот детишки, не сторговавшись с нами, и плачут, слезоиспусканием намекают на черствость наших сердец.

— Пропусти ребятенка! — говорит Мишане Гольдину бородастый резервист из Холона Цви Гросман — родился под бомбами в Одессе 1941 года, с шести лет осиротел — остался без мамы, умершей в Риге, и, наверное, потому не выносит детского хныканья, сам наплакался. — Пропусти ребятенка, — говорит. — Настырный, душа болит.

А на подносе, под питами, у чумазого лицедея припрятан складной нож. Не им ли пырнули Лешку из Питера? Вынесет ребяенок нож — доказывай затем, что не голубь клонул нашего резервиста.

— Пацанчик, назад, — говорит Мишаня. — Отдохни от слез, съешь конфетку. И угости приятелей.

И бросает на поднос горсть сладких стекляшек в фантике, пяток из тех, что мы получаем в пакете с «сухим пайком» наряду с консервами и галетами.

Детский хор, шмыгнув носом, приступает к плачу по потерянному ножу, к притворному, исключая две-три нотки, плачу. Камеры нет! Чего стараться? А нож забрали не на совсем. Закончится катавасия с розыском террориста — отдадут как миленькие. Иначе суд, и плати в десятикратном размере за посягательство на личное имущество.

Женщины за их спинами — в голос. И уже не по-арабски, на чистом иврите шпарят: — Твари безмозглые!

Это кому? Нам. Инженерам, журналистам, врачам, профессорам.

— Понаехали к нам от белых медведей!

Нам! Нам! Жителям Москвы, Ленинграда, Риги, Таллина, Киева, Минска.

— Своего же языка не знаете, сволочи!

Нам! Нам! По паспорту евреям.

— Выучили бы хоть как-нибудь иврит, чтобы мы вас понимали.

— А то знаете всего два слова и орете «Ацор!» да «Ахора!».

Машинально перевожу в уме: «Ацор!» — «Стой!». «Ахора!» — «Назад!».

Перевожу и беру на вооружение.

— Ацор! Ахора!

В ответ — ураганный ветер визгливых слов и ни одной басовой струи. Где вы, мужчины, тыкающие нас финягой в спину? Где вы, молотобойцы-каменотесы, швыряющие булыжник на расстояние олимпийского норматива?

Мужчины неприметны в простреливаемом фарватера узких улочек. Увидят предостерегающе поднятую ладонь солдата — и ретируются к базару, кофейням, где вволю могут позлословить о властях неправедных, о держимордах израильских, скудоумных и малограмотных — языка собственных предков не выучили, а туда же, управлять, командовать на русский манер, будто здесь Москва, а не Хеврон.

Мужчины не вяжутся в спор. Лицом к лицу — это для них опасная затея. Сзади, изподтишка, это иной коленкор.



\* \* \*

Вспоминаю Ахмеда, моего давнего соученика по школе иврита «Акива», что в Натании, государственного служащего из Хеврона.

— Хороший ты парень, веселый, — говорил мне Ахмед в нашем студенческом кафе, видя, как я угощаюсь коньяком с кофейком. Магометянин непьющий, он по наивности думал — пьяный, друг ты наш «Руси», ничего не упомнишь — вот и чувствовал себя раскованным, не держал язык за зубами: — Свой ты человек, что говорить! Но учти: появишься у нас в Хевроне в военной форме — лично я всажу тебе нож в спину.

Без угрозы сказал, с доброй улыбкой. И соседи по столику, арабы из Шхема-Наблуса, Рамаллы, Дженина подтвердили кивками: точно! каждый из нас зарежет — по дружбе, из любви к тебе, ближнему.

Почему — в спину? Почему — сзади?

До сих пор не знаю. Но догадываюсь. И потому предпочитаю не показывать спину никому.

Аарон Гросс — студент Хевронской ешивы — не выполнил этого правила и теперь лежит на кладбище. Его зарезали здесь, шагах в трехстах от того места, где я сейчас нахожусь, на местном базаре.

Совсем недавно я стоял на крыше его ешивы, напротив Махпелы, охранял религиозное училище. Внизу, на первом этаже, при входе — плакат, на нем фотография Аарона в траурной рамочке.

Пейсатые мальчишки с автоматами «узи» через плечо приходят сюда каждое утро — учить Тору. И учат ее ежедневно до двух-трех часов ночи. Я не оговорился, до двух-трех часов ночи. Иногда поднимаются к нам, солдатам, приносят булочки, кофе в термосе. Здесь, на крыше, откармливают в клетках почтовых голубей. Вдруг — неожиданное нападение? Вдруг — погром, такой, как случился в 1929 году? Голубь — это надежнее телефона и даже рации. Вынесет весточку, вызовет подмогу...

Наивно? Не мне судить?

А много ли в их сердцах ненависти? — ведь то и дело проходят мимо траурного портрета Аарона Гросса.

О мести не говорят. Но как-то странно цедят: «Убийца Гросса бродит снова по городу. Выпустили досрочно, в обмен на хорошее поведение...»

Долго ли ему еще ходить?

Пожимают плечами.

— Его уже видели...

Ешиботники — худые, очкастые, с редкими бородками — сажают на время занятий, как голубей в клетку, автоматы свои в оружейные ящики или, как сторожевых псов, на цепь, прикрепленную к лестничным перилам. А возвращаясь по ночам в хевронское общежитие или домой в Кирьят-Арбу, держат их дулом вперед и идут настороже, готовые в любой момент отразить атаку.

\* \* \*

Ночью в Хевроне часто слышатся выстрелы, взрывы гранат. Особенно в том районе, где обосновался раввин Левингер, вечный нарушитель спокойствия. Однажды ночью неподалеку от синагоги Авраам Авину раздался взрыв. Спираль дыма поднялась в воздух. Пока я по вертушке докладывал майору Пини о ситуации, дым добрался до моей наблюдательной башни, самой высокой в Хевроне, выросшей на крепост-

ной стене гробницы библейских патриархов. И запершило пороховой гарью в носу, и заслезились глаза. Хорошо, что дым был разряжен. Так что я проморгался минут за двадцать.

А здесь, в низине, в Касбе, — дым поустойчивей, да и ветер не в нашу пользу. Здесь на гранаты рассчитывать не приходится — сам не продохнешься. Здесь — до камнепада — следует на голос давить, на «Ацор!» да «Ахора!».

— Ацор! Стой!

— Я тут живу в соседнем доме.

— Ахора! Назад!

— Мне обед готовить! Мужу и детям.

— А сколько жен у твоего мужа? — спрашиваю на иврите.

— Четыре.

— Другие ему обед готовят, — отвечаю по-русски. — А ты, голубушка, назад! Вдруг у тебя под юбкой Лешкин пистолет за номером 223245 запрятан. Я тебе не Рентген, чтобы видеть твою натуру насквозь. Найдем пистолет — всех пропустим. А сейчас — «ахора!»

— Совести у вас нет!

А это кто? Это уже мужчина, первый за день. И выглядит — не чета соплеменникам в бежевых балахонах. В костюме, даже с галстуком. Ни дать ни взять, адвокат местного розлива. Сейчас начнет тяжбу. Только поспевай слова подбирать на иврите, не угонишься за ним. Но... О, чудо! Он русским владеет. И совсем неплохо. Ну да, многие из них учились у нас... Тьфу! Теперь — не у нас! Теперь — в Советском Союзе. Учились и выучились. Образование получили, русских жен приобрели. И выставляются, оккупантами нас кличут, хотя в пору шестидневной войны мы гуляли вместе с ними по Невским проспектам, Арбатам, Домским площадям и, вполне возможно, учились в одних и тех же вузах, располагались по соседству в одних и тех же общежитиях.

А почему бы и нет?

Почему бы?

Да и лицо впечатляющее... И... и если не ошибаюсь, знакомое. Усики. Шевелюра волной. Характерные мочки ушей.

Моя журналистская память так устроена, что человека, пусть даже случайно встреченного в трамвае, я узнаю и через десять-пятнадцать лет.

Спонтанное напряжение, и...

Ба! Да это же — несомненно! — Басам! Собственной персоной!

Тот самый Басам, с кем мы повстречались в Москве, на квартире одной студенточки из Литературного института. Было это в 1972 году. Было, да не сплыло. Хоть память и мхом поросла, однако мигом восстановила былое. Небольшая московская квартирка. Бутылочка. Рюмки. Приятная компания. Я и Гриша. Студенточка — московская поэтесса, и Катя — артистка театра. Ни к чему не обязывающие разговоры. И вдруг — звонок в дверь. Гость в неурочное время?

«Кто?»

— Если это тот самый Басам, то я ухожу! — говорит Катя.

Явился тот самый Басам — палестинский поэт, присланный компартией Израиля учиться в Россию. Явился и испортил нам праздник.

И вот мы встретились вновь.

Здравствуй, Басам!

Но вслух я тебе на русском этого не скажу.

Вслух я тебе скажу нечто иное, и на иврите:

— Ацор! Ахора!

А ты мне?

И ты на иврите:

— Не пропускаешь арабскую женщину в родной дом!

Где же ее родной дом, Басам? Ах, этот? А не потомственный ли это дом Ицхака Мизрахи, известного на весь Ближний Восток мудреца и толкователя Торы, растерзанного не иначе как предками милой твоей подзащитной женщины погромщиками-мародерами в 1929 году?

— Не понимаешь меня на иврите, я тебе по-русски скажу! — свирепеет Басам.

Нет, Басам! Здесь все начинается и кончается для тебя на иврите — не трогай русскую речь!

— Ацор! Ахора! Ани командос руси ми Афганиста.

## 19

Выключив радиоприемник, Мара настороженно вслушивалась в заоконную темень, задернутую тонкими тюлевыми занавесками.

Притереться бы к стеклу и, не затуманивая его дыханием, всматриваться, всматриваться. Но боязно. Опять обратишь на себя внимание — хоть в замочную скважину! — взгляда. Опять скажут: «Ждет!» — и начнут судачить. Наутро станут пытливо всматриваться тебе в лицо, будто любопытствуя: пришел ли? И видя по глазам, что не пришел, снова станут говорить о тебе: «Ждет! Как с того света ждет!»

— Коля! — тихо произнесла Мара, все еще под влиянием передачи, посвященной погибшему ее мужу. — Мы раз за разом возвращаемся в пустыню. А с нами — и души тех, кто шел с Моисеем. Эти души живут в нас. Во мне, в тебе, в Лешке из Питера. И сегодня, когда его нет, его душа с нами. Сколько же нас?

— В Израиле? В мире?

— Не в Израиле и не в мире, Коля. На этом и на том свете.

— Я не математик.

— И хорошо, что не математик. Лучше поймешь. Не каждый математик способен, как Лешка из Питера, видеть в невидимом истину.

— Кстати, где вы познакомились?

— В Питере и познакомились. Училась вместе в Ленинградском университете. Оттуда — и мой русский.

— Тебя, что, туда по разнорядке израильских коммунистов снарядили?

— Плохой из тебя гадальщик, Коля, хавер якар — дорогой мой товарищ! Меня туда не Голда Меир, а Индира Ганди отправила. Я ведь не израильтянка была тогда. Как и он. Я была — индианка...

— Выходит, ты из подруг Афанасия Никитина? Вот-вот, вижу что-то знакомое по фильму «Хождение за три моря», а никак не уразумею.

— Я из иудейского племени кучини. Это особое индийское племя. По поверью, среди его людей нашел пристанище Иисус Христос. Нет! Он не умер на кресте. Его спасли и вывезли в Индию. Там он женился и жил до старости, родив немало потомков.

— Ты? Ты... последняя в роду?

— Да! Наверное, так — последняя в роду Иисуса Христа. Поэтому, наверное, и названа Мара — Мари — Мария, в честь его матери.

— Но ты же еврейка!

— А он?

— Он... И он тоже...

— Рожденный от матери-еврейки — еврей.

- Закон о возвращении. Кто бы спорил?
- А спорить и не надо. Надо только сосчитать, сколько нас.
- Лешка подсчитал?

— Тут не в Лешке дело, и не в его математике. Дело в тайном прочтении. В Торе.. Незнание исчисляет нас миллионами. А нас... Нас ровно столько, сколько было у горы Синай, когда мы принимали у Господа Бога нашего Тору. Мы не умираем. Мы просто делимся душой с нашими детьми и внуками.

- Мельчаем, получается?
- Ты не прав, Коля, не прав...
- Остается вспомнить: в капле росы отражается весь мир.

Николай — со значением! — перевел взгляд на ополовиненную бутылку «Московской», стоящую на журнальном столике, покрытом пластиковой, сигаретной искры бо-ящейся скатеркой, на фаянсовые тарелочки с розовой окантовкой, вывезенные, должно быть, еще из Союза. Закуска — нехитрая, под русский желудок — балтийская килечка в пряном посоле, вареная картошечка, колбаска, нарезанная по диагонали, свежие огурцы и помидоры.

- Вздрогнем? — сказал Николай по привычке.
- Что? — не поняла Мара. — Я и так дрожу.
- Вот тебе согреться и надобно!

— Ах, теперь я догадалась. Так и Лешка из Питера говорил, когда брался за бутылку. Это его — последняя... «Мо-с-с-ков-с-с-ка-я о-с-со-ба-я», — смешно прочитала по складам этикетку. — Вздрогнем, Коля. Вздрогнем...

Разлила по рюмкам. Чокнулась. Выпила.

Николай закусил колбаской, картошечкой.

Налил по второй.

— Будем!

— Будем, Коля! Будем... наших тут, кучини. Из первых, тех, кто приехал из Индии к Бен-Гуриону... Было это в пятидесятых... Бросили наших в Негев, в пустыню. «Осваивайте, товарищи, землю свою родную, историческую!» А кучини? Древнейшая кровь индусских евреев... прошлое и будущее... Мы — предсказатели и пророки... Нам, по преданию, родить Мессию. Но мы... Мы не приспособлены к лозунгам и транспарантам. К тасканию кирпичей, строительству домов, рытью каналов и колодцев. Поумирало... Сколько наших поумирало, и не перечислить. От непосильного труда, — сказали бы наши враги. Но я скажу по-другому. От тоски, от обиды. И я, Коля, тоже, кажется, умру от тоски. Столько лет замужем, и... Мужа, Коля, у меня уже нет. А ребенка еще нет. Замкнутый круг! Что же мне делать?

Скрипнула дверь. Потянуло влажным холодком. Набежало постороннее, распаренное скорым шагом дыхание.

Появился Ицик. Американская скорострельная винтовка М-16 на длинном ремне, у колен, пальцы правой руки цепко влиты в цевье, кепи засунуто под левый погон, в глазах смешинка.

- Да вы никак пьете?
- От начальства отбились...
- Оно и видно! А о друзьях подумали?
- Угощайся!

Ицик угостился, заел килечкой и картошечкой, дыхнул в кулак. И нравоучительно, изображая из себя зануду проверяющего, заметил:

— Мда.. «Солдат пьет — служба идет» — это, Коля, все-таки не по-нашему. Приспело, дружок, двигать ножками. Пора на обход вверенного под наш контроль поселения. А то враг, доложу по секрету, не дремлет.

Николай поднялся из-за стола.

— Жди меня, — сказал Маре.

— Жди его, и он придет, — Ицик подтолкнул старого приятеля к выходу. — Только очень жди. Он такой... Придет...

— Я люблю его, Ицик! — внятно, чтобы не возникло досужих разнотолков, вдруг молвила Мара и в одно мгновение смутила неунывающего резервиста.

Николаю тоже стало как-то не по себе.

## 20

Только теперь, в перегиб чувств, когда Ицик потащил его из желанного лабиринта, увенчанного манящей улыбкой женщины, Николай по-настоящему воспринял библейскую ночь: всю ее промозглость, пробирающую до костей, когда ты без армейского свитера или полубубка. Понизу набегал клочковатый туман, ронял на траву и цветы мокрые нашлепки, призрачно светящиеся в косых лучах фонарных столбов.

— Первый фактор воинской нерасторопности — ворота! — поучал его Ицик, в прошлом офицер ташкентской милиции. — Если не заперты, то...

— Для меня ворота не заперты...

— Молчи, балда! Мозги пудри девочкам безмужним. Я о других воротах. И помни, даже при вставании, сначала — служба!

— Солдат спит — служба идет, — отозвался Николай, подыгрывая Ицику.

Но тот не унимался, не принимал игру.

— И спать надо умеючи, Коля. Иначе спать тебе с бабой безглазой — ни сиськи, ни письки, голый черепок да вострая коса.

Николай подавил зевок коротким смешком, приноровленным к металлическому скрипу запираемых Ициком ворот. Взял сигарету. Чиркнул спичкой.

— Ты назло? — спросил у него сослуживец. — Трое от одной не прикуривают. Усвоил?

— Я один, если не считать тебя. Хочешь сигарету?

— Не гоношись! Тут открытое пространство. На три километра вперед видно твою спичку.

— Ах, тебе и здесь снайпер мерещится? Гриша в данный момент спит. А у них? У них этой ночью тоже верховодит Морфей.

— Так тебе и доложили!

— Мне докладывать не надо, Ицик. У меня для их снайпера «противоугонное устройство» имеется.

— Поговори мне, партизан! Ты не в лесу, здесь воинская часть, я — старший, и ты в моем подчинении.

— Так точно, товариш командир! — Николай кинул руку к козырьку. — Слушаюсь и повинуюсь! Ты начальник, я — балда! Я начальник, ты — балда! Советская субординация. А заодно и главный постулат о правах человека.

Николай снова прикинулся простачком — «молодым-необученным», потрафляя бывшему офицеру, правда, не той армии.

Ицик, в прошлом следователь ташкентской милиции, видел, что говорится, насквозь всех, кто подыгрывал ему, наделяя не свойственным старому солдату наполеоновским комплексом. Но ничего не мог поделать с собой. Из милуима в милуим, сталкиваясь с «расхристанными» резервистами, он был вынужден включаться в эту «дурь», вбитую в него на действительной Уставом караульной службы, обутым в кирзовые сапоги. И не из-за какого-то фанфаронства. Причина была, и вполне объяснимая. Все зависело от местопребывания. В Шхеме, на военной базе, когда весь «русский» батальон собран в кулак, тогда — пожалуйста! — валяйте дурака. Охранники разбросаны по всему

периметру, и в случае чего — обеспечат подъем по тревоге. Сейчас, в поселении, вкрапленном в массив арабских деревень, иное... Здесь при кажущейся безопасности ухо держи не под подушкой. Никто по тревоге тебя не поднимет. Никто не предупредит. Смерть, как подмечено летописцами, не предуведомляет о своем явлении. Ты сам себе часовой, и пост твой — на границе собственной жизни.

— Ворота... — завелся Ицик, не находя понимания в глазах Николая.

— Наша визитная карточка.

— Ты думаешь, за нами только *эти* наблюдают?

— И наши! — не перечил Николай. — При помощи инфракрасных лучей. Очень им интересно, как мы несем службу.

— А ты не елозь языком по отсебятине! У нас такая техника, что... Хрен их знает, Коля! Наши и в темноте кого угодно увидят.

— И проверку пришлют? И застанут врасплох? «Мать-перемать, Ицик! Где твоя бдительность? Плохой из тебя командир — отец солдата!» И — что? Разжалуют? Это там ты был капитан по званию. А здесь торай-рядовой, как и мы все.

— Балда ты все-таки, Коля.

— Это надолго, — согласился в шутку Николай. Он указал стволом на виднеющееся в темноте приземистое здание, прямоугольной формы, вытянутое метров на десять в глубь поселения. — Что там?

— Птичник! Надо проверить, все ли в порядке. А то наши «двоюродные братья» из местных аборигенов повадились лазить туда по ночам. Дыры мастырят в оградительной сетке и таскают ящики с курами.

Сказал, посмотрел на Николая, усмехнулся.

И вдруг... шорох.

Ицик не кляцнул затвором — звук долетит до подозрительного шороха и эхом способен откликнуться то ли взрывом лимонки, то ли револьверной пулей. Движением руки подсказал: «Влево! И залечь!»

Мгновенная трезвость.

Николай — бочком от фонарного столба, в темень разросшегося куста. Винтовку в развилку ветвей.

Ицик вскочил на крыльцо, саданул плечом по двери и зверем ворвался в проем.

Канторка мелко светилась в поле дежурной электрической лампочки, висевшей у самого потолка под металлическим абажуром. Канцелярский стол, на нем ваза с цветами, пепельница, шариковая ручка. Тумбочка сбоку, у окна, с походным телефонным аппаратом — эбонитовый ящик, ручка на торце. У стены книжная полка, забитая пухлыми папками — наверное, отчетами о строительстве птичника. Вроде бы все на месте. Ничего не тронут. И все-таки...

Ицик вспомнил милицейское присловье: «Во всем нужно иметь один процент сомнения». И снова внимательно осмотрел комнату. Повернулся к первой от входа в конторку двери с двумя латунными нолями. Не иначе как шорох вырвался на волю отсюда.

Помещение, понятно, известного типа. Но что там за тип внутри?

Ицик выставил ладонь в окне, дав понять Николаю: «Заходи, но будь осторожен!»

Стараясь не выдать себя, Николай поднялся на крыльцо и по сигналу Ицика, показавшего возможное убежище террориста, вытащил из ножен финку-самокалочку: шума не производит, а результат тот же, что и от пули. Отлаженным движением плавно повел свое безотказное оружие на взлет.

Ицик пихнул ботинком дверь.

Финка-самокалочка, сверкнув напоследок синеватым пламенем лезвия, поползла назад в ножны.

В тесном кубаре с круглым оконцем, прорезанным в фанерной стене, спал, вернее, уже не спал, а испуганно ерзал пожилой человек лет шестидесяти. В куфие — клетчатом платке, перетянутом шнуром и облегающем голову, в заляпанной цементным раствором рубашке.

Он сидел на унитазе, не снимая штанов, и — отнюдь не король положения — монотонно, мигая глазами от нервного тика, бормотал:

— Они овед по — я работаю тут.

— В сральнике? Кто здесь еще прячется?

— Ло-ло! Нет-нет, никто со мной не прячется! Они ушли домой. Они молодые. У них ноги сильные. А я старый. Я старый Ахдалла, меня все знают. И все знают, что мне тяжело ходить.

— Тяжело в ученье, легко в бою, — пояснил ему по-русски Ицик.

— Не понимаю. Мои дети понимают. Ахмед и Юсуф. Они учились у вас, в России. Я не понимаю. Оставьте меня здесь.

— Здесь! Тебе! Оставайтесь! Нельзя! — отдельно, выделяя каждое слово восклицательным знаком, сказал Ицик. — Инструкции. Ты сам читал, сам подписывал.

— Я неграмотный. Я не знаю, что я подписывал.

— Зато мы знаем! Шагом! Марш!

— Я тут до утра посижу. Хорошо? Куда мне ночью? Убьют!

— Никто тебя не убьет! Там твоя территория!

— А работаю я здесь, у вас. За это и убьют — там...

Николаю стало жалко араба.

— Отцепись от него, — сказал он Ицику. — Пусть спит.

— Здесь! Ему! Спать! Нельзя! Распоряжения не я придумываю. Война!

— Ну, так поставь меня на охрану сральника! Я за этим мудаком прослежу, чтобы не подорвал сортир.

— Не встревай, Коля! Не наши порядки — не нам их и исправлять! — и схватив все еще упрямившегося палестинца за шиворот, потащил его наружу.

— Отпусти, мамзер! — дернулся пленник, назвав Ицика «незаконнорожденным», а это — самое отвратительное ругательство на языке библейских пророков.

— Ох ты, б...! — вскипел в израильском солдате русский милиционер. — Домой! Домой!

— Мне нельзя за вашу колючку!

— Опять «нельзя»!

— Там меня убьют! — кричал уже в полный голос Ахдалла.

Человек в куфие и заляпанной цементным раствором рубашке потерянно переводил взор с «доброе» Николая на «злого» Ицика.

Наконец, не выдержав, махнул рукой.

— Ладно! Я пойду туда. Кто оплатит мои похороны?

— Не чуди! — сказал Ицик.

Араб погрозил ему пальцем.

— Ваш профсоюз тебя одетым не оставит. Все сдерет, до последней нитки. У меня соглашение с вашим профсоюзом. В случае производственной травмы или смерти моим женам полагается компенсация. Каждой жене — прожиточный минимум. Ей и ее детям.

— За тебя, сирого?

— За меня!

— И сколько у тебя жен?

— Четыре.

- И ты всех трахаешь?
- Мамзер! Прикуси свой язык!
- Николай взял Ицика за локоть.
- Может, хватит?

Он вытащил из сторожевой будки у ворот спальный мешок, кинул его нарушителью спокойствия.

Ахдалла благодарно кивнул «доброму» Николаю и показал кулак «злому» Ицику.

- Человек понимает, — сказал.
- Что понимает? — Ицик помассировал затекшую от перенапряжения шею ремнем от винтовки.

— Понимает, что тут демократия. Тут уважать надо мои права. А то на вас в ООН напишут.

- Ты ведь неграмотный.
- Дети мои — грамотные. Ахмед и Юсуф. У вас учились. В России.
- Заткнись, папаша! Грамотей гребаный!. Людей разбудишь. А им тебя охранять от смерти.

И заткнулся Ахдалла...

Ему было ведомо, причем лучше, чем Ицику, что на этом холмами прикрытом просторе, воцарись тут иорданская, сирийская или какая-нибудь привечаемая им власть, ему при аналогичных обстоятельствах намотали бы кишки на волосатый кулак и этим же кулаком — по морде, по морде, пока не сдохнет. И никаких компенсаций, никаких жалоб в ООН. Но власть была не его, поэтому он имел полное основание качать свои права.

Вот и качал. Пока не укачался в спальном мешке.

А когда укачался, Ицик опять повлек Николая к птичнику.

- Надо проверить.
- Ты о чем?
- Шорох-то был металлический.
- Что из этого?
- Думай, Коля, думай.
- Служили два товарища...
- Ага!
- И? Что дальше?

— Подожди меня. Я еще раз проверю этот сральник.

Офицерские свои звездочки Ицик ковал старшинскими молотками. Ему представлялось, что он прошел тропами размышлений виновника ЧП и теперь недалек от разгадки его полночного сна.

- Ну? — спросил Николай.
- Входи, гостем будешь.

Николай зашел в туалет и увидел в руках Ицика пистолет советского производства.

- «Макаров»? — Он самый, голубчик. И номер — какой? Не догадываешься?
- Лешкин?
- Лешкин. 223245.
- Выходит...
- Нет, не выходит... Не старик этот зарезал Лешку. Помнишь, в оперсводке было: два молодых араба с ящичком кур.
- Помню...
- Старик просто спрятал пистолет здесь.



- За сливной бачок?
  - Да-да, как в кино.
  - «Крестный отец»...
  - Точно. Но там хоть понятно было зрителю, зачем спрятали пистолет. И для кого.
  - Мне, Ицик, представляется, и тут все понятно. Надо брать старика.
  - Э, нет, братец, в следователи тебе еще рано подаваться. Наш Ахдалла мигом откажется от пушки. «В первый раз вижу!»
  - А следы пальцев?
  - Нашел дурака!
  - Не понял.
  - Пистолет в матерчатой упаковке, и — никаких отпечатков. Пока в деле не проявится, никого не уличим.
  - Что же ты предлагаешь?
  - Не я, Коля, а криминалистика.
- Ицик выщелкнул обойму из рукоятки «макарова», сунул ее в карман. А пистолет снова завернул в парусиновую ткань и угнездил в потайное место, за сливной бачок.
- Тут ему будет спокойнее. Да и нам, пока он без патронов.
  - Надо бы ребят предупредить...
  - Всех до утра беспокоить не стоит. Предупреди Изю, ему скоро пост занимать.
- Николай глянул на часы. Подумал: «Интересно, Мара уже заснула?» И пошел напрямки, сойдя с гудронной дорожки, к бетонному коробку — жилищу-временке Изи Майера. А мимо скользила стосвечовая лампа, призывная, круглосуточно-яркая, горящая в окне домика-дота, за тюлевыми занавесками... В гостиной Мары...

## 21

Змеиной гибкости тропа вывела Николая на пологий взлобок, с которого тускло просматривался поселок Кфар-Моше. Не доходя до каменной постройки, он остановился. Кругом дикая, с длинным стеблем трава, ершистые, влипающие в ночь сопки, на южной оконечности — недостроенный птичник.

Николай смотрел по сторонам и будто бы продирался сквозь себя, поросшего изнутри столь же дикой травой. Что бы он ни делал во внешнем мире, куда бы ни шел, но во внутреннем, глубоко в себе, нес войну. Начатую еще гитлеровцами, долговременную. И это мешало. Не позволяло на равных общаться с людьми, с литературной братией. Так и хотелось спросить каждого: «Ты — последний в роду?» Редко у какого еврея, прошедшего через ту войну с фашистами, выжили братья, сестры, еще реже родители, а уж о дедушках и бабушках, забытых эвакуаторами в глухих местечках Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии, Эстонии, и говорить не приходится.

Отсюда и определенная отстраненность на литературных сборищах. Трудно было поверить в «младое племя, незнакомое». Все лет на двадцать моложе. И у каждого, значит, война оставила в живых родителей. Наверное, и братья-сестры у них тоже имеются. Какая житейская роскошь! Но тем, кто обладает ею, этого не понять! Не понять им сиротства души...

Николай, что естественно для видевшего ту войну с фашистами не по книжкам советских писателей, не плутал на литературных путях. Просто сошел с основополагающего тракта, стал «писать в стол», превратился в диссидента, чуждого властям с их подцензурной литературой.

Потом, уже в Израиле, столкнулся с новой писательской порослью, стремящейся узаконить такие же правила, что бытовали в Союзе. Чувствовалось, недополучили они

там каких-то благ, посему и решили распределить их здесь, между собой. Учредили какие-то премии — «не Нобелевки, но все же...» — и вручали сами себе. Назначили из своей среды парочку гениев — «не Манделштамы, но все же...», а других, кто поязыкстее и когтистее, выделили им в подмастерья. И заскрипели перьями, опасаясь, что новые волны репатриации, подобно цунами, того и гляди, разнесут в щепы их хлипкую постройку. В подвале этого шаткого здания Изя Майер, поэт, прозаик и бывший солдат охранных войск, открыл свое небольшое издательство. В издательство его Николай захаживал нечасто, а вот на службе резервистов встречался с ним постоянно из года в год. И любил вспоминать о том, как довелось им охранять когда-то израильского дезертира. Впрочем, дезертиром тот был всего лишь на словах: сбежал с военной базы в Эйлат, на курорт, позагорать, покупаться, да попался. Теперь должен сидеть на гарнизонной гауптвахте, за решеткой, в одиночестве, искупая вину под видом наказания. А для усугубления чувства вины приставили к нему двух часовых — Николая и Изю с полной боевой выкладкой: пять магазинов, гранаты со слезоточивым газом. И Цеу: действовать по обстановке.

Тюрьма представляла собой отнюдь не внушающее страх здание известного типа — с решетками и зловеще скрипящими дверями. Это был низенький каменный домик-караван, вытянутый — наподобие школьного пенала — у заградительной сетки. За ней привольное пространство Самарии — вотчины кочевых верблюдов, не признающих, как и их наездники, границ.

Изя «крупно страдал», занимая доверенный пост. Он примостился на лавочке, вынул объемистую фляжку с водкой, поставил ее между собой и Николаем, а автомат «узи» положил на колени, чтобы был под рукой.

— Начнем?

Напротив лавочки, в камере за чугунной решеткой, маялся на лежанке с книжкой в руках салажонок-узник, мечтающий о девушках с фирменными попками больше, чем о боевых подвигах. Скука томила его желанием развлечений, и он — поверх перелистываемых страниц — с любопытством посматривал на «русских» перестарков в военной форме, мало приспособленных к израильской жаре. Не успели рассесться, как сразу — глотать воду. По правилам солдату полагается выпивать в день два литра, чтобы не очочуриться от обезвоживания. При этом пить необходимо каждые полчаса, и не по глотку, передавая фляжку друг другу, как это на его глазах делают новенькие. Сразу видно: недовоспитанны и малообразованны пустыней. Так они быстро опорожняют фляжку и на всю ночь останутся без питья — иссохнут от жажды и будут молить его попроситься в туалет. Иначе без сопровождения заключенного им не позволительно выйти наружу, к водопроводному крану, шлангу, бочке с питьевой водой.

К его удивлению, «русские» не иссыхали от жажды. А наоборот, начинали влажно дышать, будто изнутри поились из дополнительных родников. И эти источники сочили какой-то знакомый по вечеринкам запах, все более усиливающийся.

«Нет, не анаша, не гашиш, не марихуана, — определял салажонок-узник. — Водка! Да, так пахнет водка, если ее не разбавлять тоником. Но ведь не разбавлять — это... Если водку не разбавлять тоником, один к трем, то можно отравиться и умереть. А на жару? Израильской жару? Господи! Водка ведь и обезвоживает организм не хуже солнца в Эйлате».

Но «русские» пили и не подавали признаков обезвоживания.

«От большого количества выпитой водки человек теряет сознание или сходит с ума, — продолжал мучить себя медицинскими познаниями салажонок-узник. — У него наступает белая горячка, и он видит чертей там, где всего лишь водятся люди. Господи, пронеси!»

«Русский» Изя, мало обращая внимания на заключенного, рассказывал «русскому» Николаю, как на «русской» вышке, оберегая эков от побега, он обморозил на всю жизнь ноги. И все почему? Потому что в ту ночь не удалось протащить на вышку бутылку «чистой как слеза». С тех пор и страдает. Как вечерняя пора, ноги начинают обмирать, и без порции сорокаградусной двигаться не желают. Даже в нужном направлении — за добавкой.

Но двигать ногами не пришлось. Добавка обнаружилась в походной фляжке Николая. И камера «заблагоухала» еще сильнее, еще нестерпимей.

Дезертир, будто ему было достаточно влажных испарений от алкогольных напитков, уже не вел рассудительный анализ вредных для здоровья глотков, скорей всего, и не соображал здраво. Он соскочил с койки, кинул в угол камеры недочитанную книжку и давай хвататься за прутья — вот-вот разобьет о них голову.

— Выпустите! Отпустите!

— Кто тебя, такого, отпустит? — рассудительно сказал Изя и стал отталкивать его стволом «узи» в глубь казенного помещения, чтобы не поранился.

— Я жить хочу!

— Не бегай по бабам, и жить будешь.

Но салажонок-узник не вразумлялся. Пришлось вывести его на воздух, полить водой из шланга, будто он не на гауптвахте, а в вытрезвителе.

И что? Да ничего! Ни Изя, ни Николай не пострадали на службе. А вот скандалист-осужденный пострадал. Ему предписали лечение от алкоголизма.

Причина? По внешнему виду он был пьян, а по внутреннему состоянию — пьян в стельку.

Проверили на наличие «спиртных градусов» в организме и — о, израильское чудо! — обнаружили излишек. Обнаружили и отправили молодца — куда подальше, ибо с пьяными израильтянами сплошные неприятности: все с ними случается, от увечий до самострела. А с россиянами — ничего! Их никто и не проверяет на наличие «градусов». Пили — пьют — и пить будут! И никогда излишек спиртного не обнаруживается в их организме, лишний для дела спирт сам по себе улечивается.

Куда? «На вторичную переработку».

Николай и подумал, подходя к Изиному жилищу: «А что у меня осталось от боевого запаса на вторичную переработку?» Поплескал флягой возле уха. «Не густо».

Сидя за столом, Изя снаряжал обойму своей «беретты» патронами от «узи».

Поймав взгляд Николая, пояснил:

— Подходят к моему стволу.

— Поэтому тебе подавай каждый раз в милуиме «узи»?

— Не покупать же патроны! Здесь их куры не клюют, а в магазине...

— Себе дороже?

— Можно подумать, ты отказывался лишний разок пострелять из моего ствола?

— Я не отказывался.

— Завтра еще постреляем.

— Завтра... постреляем, — многозначительно заметил Николай.

— А что? Наши поднадзорные опять?

— По всей видимости, что-то готовят. Мы с Ициком обнаружили «макарыча» за сливным бачком, в птичнике. Обойму изъяли. Но будь начеку. Утром, когда они прибывают на работу, кому-то эта «пушка» понадобится.

— Утром — Мара. У нее списки прибывающих на работу, по ним она и пропускает их за ворота. А я на предутренней смене.

— Хорошо, предупрежу и ее.

Изя поднялся, прошел к канцелярскому шкафу и за стеклянной перегородкой, внутри толстенной папки для бумаг, отыскал початую бутылку шнапса.

Мощным ударом ладони «под зад» вышиб из бутылки самодельную, из обрывка газеты, пробку.

Коренастый, метр шестьдесят пять на метр тридцать, скорее почти квадратный, чем продолговатый, он смотрелся в военной форме все же приталенным. Этому способствовал кожаный офицерский пояс с медной пряжкой, приобретенный перед выездом на ПМЖ за четвертак у старлея-алкаша.

Разлили. Пригубили. Закусили солдатскими сосисками в томатном соусе.

Вспомнили о первых публикациях в израильской прессе, о неудачных попытках писать на иврите.

Разлили. Пригубили. Закусили свежим огурчиком.

Поговорили о намечающихся публикациях.

Изя предложил напечатать в своем издательстве военный роман Николая.

Николай показал продолговатый конверт с договором из американского издательства, переданный Гришей в Тель-Авиве.

— Ого-го! — Изя рассматривал визитную карточку отправителя. — «Магрем-пресс»! Киплинг! Ромен Роллан! Хемингуэй! Бунин! Пастернак! Шмуэль Агнон! Сол Беллоу! Сартр! Солженицын! Башевис Зингер! Сплошь нобелевские лауреаты.

— И среди них...

— А что? — Изя перевел взгляд на давнего приятеля. — Симптоматично!

— Посмотрим-посмотрим... Как говорят боксеры, ринг покажет.

— Но не раньше, чем наш пузырь покажет нам доньшко! — сострил Изя и тут же плеснул по стаканам.

На призывный запах вышел Ицик.

— Пьете?

— А ты?

— Я службу несую.

— Пусть ее понесет один раз кто-нибудь другой.

— Уже несет.

— Кто?

— Юрчик.

Николай пропустил еще разок «стограммульку» в милой компании — «на троих», отлил водки в опустевшую фляжку и «засобирался», сделав вид, что вспомнил о неотложном деле.

— Чего это с ним? — спросил Изя.

Ицик пожал плечами:

— Бабу нашел.

— Тут?

— А что? По-твоему, здесь водятся только черти?

— Не компостируй мне мозги! Здесь все сплошь и рядом семейные!

— Значит, не все, мужик! Забыл? И на старуху бывает проруха.

— Старуха мне и даром не нужна...

Грусть дохнула в Изином голосе и угасла в тягучем стекольном перезвоне сдвинутых — стенка о стенку — стаканов.

## 22

— Мара! Вот я и вернулся, — повторял в уме Николай.

Ему умозрительно представлялось, как он откроет дверь и войдет в скрытую за тюлевыми занавесками обитель израильской индианки из племени кучини.

- Я ждала, и ты вернулся, — слабым эхом отозвалось в нем.
- Я верю тебе.
- Веришь, что в прежней жизни я была твоей женой?
- В прежней, в прежней... В нынешней у меня уже нет жены.

Николай спохватился: в мысли затесалось нечто постороннее, изменчиво — сердцем ли, душой — подталкивающее к таинствам потустороннего мира, где сон и явь бесхитростны и вместе с тем наполнены глубоким смыслом, разгадывать который — не разгадать. Лучше, когда мозг погружен в тихую хмельную заводь, не тревожимую даже шумом «песенного» камыша. Тогда понятней все — до мельчайшего стежка-завитушки на вытканном полночными видениями кружеве. И каждое слово полнозвучно, полновесно, не таит в себе загадочного предостережения: «нам не дано предугадать». И появление тени, обрастающей телесной оболочкой, столь же естественно, как в Иерусалиме... на кладбище... Вот Оно и наступает... Здесь, в поселении... Будто и здесь Иерусалим... Будто и здесь кладбище... Или? Правильнее по-другому. Оно — потустороннее — не знает границ.

Нет границ!

Есть Оно — иллюзорное, волглое, светящееся, словно в сумраке одухотворенная иерусалимская тень.

Оно — кладбищенское, повисшее над девятикружьем загробного спуска.

Оно — неощутимое, невесомое, как жизнь.

Есть Оно...

- Нина? Зачем? В другой раз!
- А вдруг другого раза не будет?
- Извини... Позволь, я тебя обниму.
- Коля! Не надо. Тебе это неприятно, я вижу.
- Эх! — махнул он рукой, лишь бы уйти от сострадательного взора жены. Рука стукнулась о приклад винтовки и заняла болью, угасающей с намеренной неторопливостью, подобно звону сдвинутых стаканов.

Рядом, почти касаясь своим плечом ее, несуществующего в реале, медленнее и осторожнее, чтобы Нине легче было нести в ладонях живот, пошли они к заметной гудронной дорожке узкой, на одного человека, тропой, проложенной в дикой траве.

Иерусалимский сумрак, будто и он не имел границ, перекочевал на их лица и в отблеске дальних фонарей придавал им свечение — странное, угольной окраски, с вкраплением звездных искр. Они не замечали этого. Правильнее сказать, делали вид, что не замечают. И чтобы вернее не замечать это, говорили-говорили, стремясь за разговором укрыться от немыслимости происходящего.

- Малыш... Как он? — спрашивал Николай.
- Весь в тебя.
- Не колотит ножками?
- Случается.
- И?
- За нас не беспокойся. Разродимся.
- Скоро ему?
- Спрашиваешь...
- А что?
- Это от тебя зависит. Ты мне должен помочь.
- Как?
- Еще не понял?
- Объяснись.
- Дети рождаются на Небесах, но делают их на Земле.

— Нина! Прости... Ты просто толкаешь меня на измену! — Николай сглотнул слюну, почувствовав себя неуютно после фальши произнесенных в горячке слов, словно нашкодивший муж, ищущий оправдания.

— Не будь ханжой! Какая измена? Кому? Надгробию? Каменной бабе, вырезанной на памятнике? Ты живой человек и помни, что я тебе сказала: дети рождаются на Небесах, но делают их на Земле. Чтобы я родила тебе ребенка Там, ты должен мне помочь Здесь. Запомни, Коля!

Николай — распаренное дыхание иерусалимского сумрака — ощутил горлом скачок сердца. Рванулся к фляжке. Принял глоток. Вытащил финку свою — неразлучницу, ртутью внутри — для меткости — залитую. И метнул! В дальнюю, недоступную космической ракете звезду Сириус, на которую, как считают ученые, сориентированы египетские пирамиды. Лети! Лети, каленое лезвие! Покажи мне свой искрометный след! До самой-самой дальней звезды, откуда все мы родом! Покажи!

Он следил за перечеркивающей небо стремительной трассой стальной иглы и не видел, старался не видеть, как плавно, без жесткого шороха приминаемых трав скрадывается в темноте теневое подобие Нины. Создавалось впечатление, что дуновением ветра ее уносит в туман, поднимающийся от земли выше и выше.

Но ветра не было.

Было тихо, чуть влажно.

Было то, чему и положено быть — неразгаданное таинство израильской жизни, берущей начало на библейских просторах. Воспринимаемое душой таинство, которое позволяет ощущать, что ты подвластен не только своему разуму, но и неведомо кому, невидимому и бестелесному, однако повелительно определяющему в тебе правоту поступка.

Жутко жить на белом свете, если прикосновение, доброе тепло ладони — пусть ладони! — несет смерть. А прикосновение взглядом? А зондирование направленной мыслью? И еще множество всякого такого, чему и названия нет ни на одном земном языке.

Трудно войти в себя...

Еще труднее выйти — превзойти себя, а в себе — силу несущих крыльев...

Голубины? Орлиные? Пегасовы?

Крылья — на свету, в преломлении солнечных лучей.

А ты?

Не проси взаймы у судьбы.

Простое человеческое счастье — не лотерейный билет.

Не обманет. И дается не однажды.

Дважды уже давалось... Полина... Нина...

Но ненадолго.

В третий раз?

Бог троицу любит — открывай дверь!

Лицо Мары расплывалось в свечении ночника.

Не поднимаясь, она произнесла:

— Пришел? А я тебя ждала.

Николаю почудилось, говорит не Мара, а небо над ней.

Небо говорило — небу и людям доступное.

— Я твоя жена, — говорило небо.

И Николай подхватил небо на руки, прижал к груди, чувствуя в телесном его облици живое биение пульса, трепет сердца, душевное тепло.

Небо высвечивало антрацитной теменью. Но в нем все настойчивее и настойчивее прорывались к зрению дальние звездочки. И в благости помыслов они, яркие, как

бертолетовые огни, не гасли. Наоборот, разрастались в туманности, магнетически во-влекали в некое пространство, отлученное от четкой мысли. И вели за собой, уводили: дальше и дальше — в неподсудное, глубже и глубже — в необъяснимое.

Неподсудное — необъяснимое...

Любовь случается дважды в жизни.

Первый раз, когда ты не знаешь, что такое любовь.

И второй раз, когда ты думаешь, что настоящая любовь у тебя уже была и никогда не повторится вновь.

## 23

Николай проснулся от пронзительного визга. Мара? Да, кричала Мара. Но не у него под рукой, а метрах в ста пятидесяти, у въездных ворот.

— Проспал!

Заполотно он соскочил с кровати, подушку — в сторону, давай форменку натягивать. И, чертыхаясь, подумал: «По тревоге сапоги — правильнее, раз — и в обувке. Бери винтовку и вперед! А с этими ботинками намучаешься, пока зашнуруешь».

Но не босым ведь бежать по разрыв-траве, колючкой поросшей.

Женские крики перемежались русскими ругательствами, не на родном для них языке, с акцентом, но без должной выразительности.

— Я твою маму имел! Деньги давай!

По голосу, машинально определил Николай, это Ахмед — тот, кто хватанул по зубарикам на Гришиной квартире.

— Деньги давай!

А это братан его — Юсуф.

— Какие деньги, зараза?

А это? Это Изя! Действительно, откуда ему знать про деньги: не всех же вводить в курс рэкетирских запросов местной палестинской мафии. Впрочем, зря позабыл его проинформировать. Как бы дров не наломал!

И сразу же прозвучал выстрел.

«Узи!» — определил Николай, выбегая из домика. Прислушался: ни стонов, ни воплей раненого зверя.

Точное соблюдение инструкций. Сначала выстрел в воздух, потом на поражение. Но второго выстрела не последовало. Послышался хлопок гранаты, и осколки с противным свистом пронеслись мимо уха.

«Черт!» — выругался Николай, вытер пот со лба, повернул кепи козырьком назад, для удобства во время стрельбы, взвел затвор.

На плацу, возле сторожевой будки и ворот в поселение, вырисовывалась довольно занятная, если отбросить страхи, картина американских боевиков.

«Забавно! — подумал он. — И пистолет прячут за сливной бачок, как в фильме „Крестный отец“. И в заложники берут точь-в-точь по сценарию фильма „Смерть в подвале“. Своих мозгов нет? Впрочем, если и есть, то их им высыплет Гриша. Кстати, где он?»

Не высовываясь из-за будки, изрешеченной осколками, Николай повернул голову к казарменному кубарю. И заметил Гришу с Юрчиком — они занимали снайперскую позицию у каменного бруствера на крыше.

«Что же теперь? Пуля вылетит — и ага!»

Помахал Грише солдатским кепи, подавая знак — «внимание», но не сунул его под погон, что означало бы разрешение на открытие огня. Надо было прежде разобраться с обстановкой.

Обстановка складывалась, в общем-то, нормально, если, конечно, позабыть о не учтенной при разработке плана гранате. Оказалась она, как ни странно, у старика Ахдаллы, в широченном кармане его штанов.

«Стариков запрещается обыскивать! — совсем некстати пронеслось в уме. — Очень гуманно, пока не выпустят тебе кишки. Все они, на словах, старые, немощные, ничего не видят, ничего не слышат. У каждого — больные ноги, больные руки, им тяжело добираться до родной деревни. Ицик прав: сейчас никого нельзя оставлять за нашей колючкой. Война! Гони всех на их территорию!»

Граната никого не ранила, разорвалась в будке, выбила окно, посекала на пристеночке глиняные фигурки местных умельцев. Но — что удивительно — не задела осколками миниатюрный радиоприемник Юрчика, висевший там же, на шнурке.

Транзистор как ни в чем не бывало анонсировал передачу «Из Ливана, с okazji», которая должна была выйти в эфир через три минуты по окончании рекламных сообщений.

«Мой материал, — отозвалось в Николае, и с какой-то грустью подумалось: — Надо бы позвонить в Кирьят-Гат, предупредить маму Моисея — посмертный рассказ о ее сыне».

Но как позвонить? Как предупредить?

Стационарный телефон приведен в негодность, эбонитовое покрытие в дырках, трубка расщеплена. На связь с городом, а тем более с военной комендатурой рассчитывать не приходится.

Впрочем, если честно, эта связь сейчас только помешать может. Первое распоряжение из комендатуры — ясно и без звонка: не принимать никаких решительных действий. Ждать приезда парламентария. Он вступит в переговоры и выяснит условия, на каких террористы согласны обменять заложника.

Велика тайна! Условия понятны и без переговоров. Поначалу — десять тысяч баксов. А если в ответ на вымогательство откажешься платить, тогда... Вот тогда закрутят «политику»: заложника — в обмен на всех наших братьев, страдающих в израильских тюрьмах.

А страдают за что? За то, что попались, когда шли убивать (или уже убили) безоружных евреев. Либо за воровство, угон автомашин. Мало ли за что? Кодекс вменяемый, на всех подберет статьи закона.

Николай положил ствол винтовки на основание посеченной осколками оконной рамы и сквозь дверной проем — напротив — взял на мушку Ахмеда: усики, витая шевелюра, глаза с поволокой, а в них томление вселенского масштаба. Это томление, впрочем, отнюдь не мешает левой его руке покоиться на горле Мары. В правой — «макаров», приставленный к ее виску. Рядом Юсуф и Ахдалла наизготовку с ножами для забивания скота.

— Деньги давай! — повторил Ахмед. — Деньги или ее жизнь!

— У меня минус в банке! — вразумительно разъясняя бандитам свою финансовую несостоятельность Изя, так и не врубившийся в ситуацию.

— Зови на разговор Ури! А то поздно будет! — угрожающе помахал ножом Юсуф.

— Ребята, не шалите! На два ваших ножа у меня припасена одна очередь.

— А на пистолет? — вызывающе улыбнулся Ахмед.

— Пуст твой пистолет, как и твоя башка! — бухнул Изя.

— Ха!

— Он правду говорит, балда кудлатая! — послышалось со стороны.

Ахмед повернул голову на Ицика, скорым шагом приближающегося к нему. И мгновенно перевел «пушку» на бывшего милицейского следователя, чтобы не зарывался, помнил свое место в «раскадровке» ситуации, и остановился, как это происходит по воле режиссера, метрах в пяти от пули.



Ицик остановился. В пяти метрах от пули, которой, как понимал, в наличии нет.

Террорист снова притер ствол к виску Мары, уже не дергающейся, а спокойно ожидающей развязки этой совершенно идиотской в своей неправдоподобности истории.

Ей тоже было непонятно требование грабителей. «Деньги! Какие деньги? Наличных нет даже в поселковой кассе. А чеки? Ни один банк не обналичит этим разбойникам с малой проселочной дороги чеки, выписанные за оплату воды и электричества».

— Десять тысяч баксов! Или будет пролита кровь! Мы ждем! — давил на басы Ахмед.

— Никто вам не заплатит ни агоры!

— Заплатите! Даю на размышление две минуты! Потом — смерть!

Ицик, в соответствии с ходом мысли советского оперативника, располагал безотказным средством для обезоруживания и добровольной сдачи в плен не слишком изворотливого на бандитские выкрутасы противника.

— У тебя нет патронов, балда! Не веришь? Вот! — вытащил изъятую обойму и показал ее, держа в горсти, «виновникам торжества с захватом заложников и стрельбой».

— Ха! — повторил Ахмед. — Минута! Потом — смерть!

Ицик непроизвольно, подчиненный приливу злобы, сдвинул пальцы в кулак и... Большой палец подастливо ушел вовнутрь обоймы. Нет, не наполовину, не на треть — всего на мизинец. Но и этого хватило, чтобы лицо офицера не той армии, секунду назад источающее уверенность и превосходство, как бы потеряло самое себя, осунулось, побледнело и, более того, приобрело какой-то «могильный» серый оттенок.

«Один патрон был в стволе! — с той же внезапностью осознал Николай. — Как же Ицик не проверил затвор, когда вынимал обойму? А еще следователь!»

— Время пошло! — злорадно, в точности с титрами из какого-то вестерна, оповестил Ахмед. — Тридцать секунд! И — смерть.

Он опять приставил пистолет к виску Мары.

Николай оглянулся на крышу, снял кепи, предупредительно помахал им, сложил пополам и спрятал под погон.

Выстрела он не слышал. «Глушитель!» Но результаты снайперской работы увидел тут же.

Ахмед свалился ничком, не успев схватиться за простреленный лоб.

Мара кинулась за будку, спасаясь от ножей.

Ножи кинулись за ней вдогонку.

Но их опередили пули из израильского автомата «узи».

В бывшем конвоире советских зэков младшем сержанте охранных войск товарище Изе Майере сработало вбитое в него кирзовым сапогом правило: «Шаг в сторону считается за побег». И он открыл огонь на поражение.

### **Отступление восьмое. РЕПОРТАЖИ С УЗЕЛКОМ НА ПАМЯТЬ**

— Три имени в еврейской истории расположены в ряд: Авраам — Исаак — Яков. А одно, не менее значительное, стоит особняком. Моисей. Это имя человека, выведшего нас из египетского рабства. И оно, как и названные ранее, кочует по векам и странам. Так звали моего отца Моисея Вербовского. Так звали моего друга — журналиста Моисея... Нет, настоящая его фамилия вам ничего не скажет, дорогие мои радиослушатели. Он, как и другие, выступал на радио «Голос Израиля» под псевдонимом.

Выступал... какое это горькое слово. И горько сознавать, что его уже нет.

Моисей был убит случайным осколком, залетевшим в наш автобус, курсирующий по Ливану.

Был убит в метре от меня.

Если бы мы с ним поменялись местами тогда, то сегодня... Сегодня, наверное, он рассказывал бы обо мне.

Что ж, не будем нарушать традицию. Живым пристало говорить о мертвых, а не наоборот.

Послушайте мой рассказ.

### ИЗ ЛИВАНА С ОКАЗИЕЙ

\* \* \*

Осколок снаряда от Эр-Пи-Джи, советского производства, торчит в железном боку автобуса. Он прошел слева направо — через оконное стекло — в спину. И вышел из груди, чтобы облить кровью его автомат, лежащий на коленях.

Моисей впал в кому, не успев подумать о смерти. Не успев даже в мыслях передать привет матери, жене, дочке. Впал в кому и, отвергнув боли и тяжбы минувшей жизни, парил над Добром и Злом — теми понятиями, которыми из века в век кормится человечество. Пока, в разрыве времен, не приступает к пожиранию единоутробных братьев.

\* \* \*

Моисей умер...

Его автомат М-16 покоился на кожаном сиденье автобуса — так и не высадил в отместку ни одной пули.

Группа иностранных корреспондентов — эти Хоу, Дитрихи, Смиты, коих он вынужден был сопровождать от Цора до Бейрута, услышав скрежет железа, отвели глаза от запредельной синевы ливанского неба и теперь с ужасом смотрели на него, военного корреспондента радио «Голос Израиля». И видели в его застекленных глазах отражение арабских деревушек на горных трассах. Скучной была для них поездка в Ливан — никаких ЧП. Теперь — все иначе: поскорей связывайся со своим агентством и наговаривай текст. Смерть дала им материал для первой полосы. Дала им то, что жизнь Моисея дать им никак не могла.

\* \* \*

Его мама Рива, лежащая на операционном столе в ашкелонской городской больнице, осознала смерть сына шестым чувством и не позволила себе мирно скончаться под ножом хирурга.

Кому, как не ей, хоронить Моисея на военном кладбище?

\* \* \*

Из тысячи болей выбирают одну.

Кровь не стынет в поджилках, когда ноет сердце.

Кого убивают первым, если пришло время войны?

Одного из тех, кто идет впереди?

Одного из тех, кто идет в арьергарде?

Топающего справа либо слева от колонны?

Первым убивают Ее сына.

Из тысячи более мать выбирает одну.  
Кровь не стынет в поджилках, когда ноет сердце матери.  
Смерть не выбирают.  
Выбирают жизнь.  
Но первым — для матери — убивают ее сына.

\* \* \*

Ривин сын Моисей, сын Моисея и внук Моисея, нареченного в честь Моисея, выведшего евреев из египетского плена, погиб от шального осколка на выезде из Бейрута, так и не успев поспеть в Ашкелон к началу операции.

Рива, мать Моисея и дочь Моисея, нареченного в честь Моисея, выведшего евреев из египетского плена, из тысячи более выбрала одну — смерть сына.

Его смерть она ощутила внезапно, на операционном столе, за мгновение до того, как уснула под наркозом.

Рива очнулась в палате от приступов тошноты. Тело ее содрогалось в спазмах. Старая женщина чувствовала ноющие покалывания в груди, терзаемой куском стали, поразившей ее сына.

Хаим, племянник Ривы, обретший это имя, означающее на иврите — жизнь, в честь дарованной ему жизни в гетто, чуть ли не силком тащил к ее кровати дежурную медсестру. А та негодуя дергала острыми, как вешалка, плечами и отбивалась скороговоркой:

— Все с ней будет хорошо! Бесейдер! А рвота... Без рвоты не отойдешь от наркоза.

— Сделайте что-нибудь! — кричал, не слыша девушки, Хаим.

И дежурная медсестра сделала «что-то», лишь бы «что-нибудь» сделать: сменила на Риве белье.

— Хватит орать! — сказала она Хаиму, сделав «что-то». И вышла в коридор — плечики вразлет, и покачивается, будто художка-манекенщица от сквозняка.

— Ей плохо! — вдогонку плечикам крикнул Хаим.

— А кому хорошо? — отозвалось из глубины коридора.

Рива булькала горлом, подбирая руки к груди.

— Оставь эту девчонку, Хаим. Она права: кому сейчас хорошо? Идет война, а она... они бастуют. Объявили голодовку на нашу голову. Это надо же, бастуют...

— Но ведь она... Она дежурная!

— Помолчи, Хаим. Мой язык к смерти прилип. Трудно говорить. Закажи памятник.

— Рива, что с тобой? Да ты! Тебе до ста двадцати и без всякой ржавчины!

— Памятник, Хаим! И беги в родильное отделение. Я чувствую... Хая... Я чувствую... там... с внуком моим... с Моисейчиком... плохо. Не разродится она.

— Рива, да что с тобой впрямь? Каким Моисейчиком? Мы же договорились! Если мальчик, назовем его Давидиком, по моему деду.

— Я знаю, что говорю. Хаим. Беги! Мне... мне...

Рива прикрыла ладонью рот. Но поздно. Ее вновь затрясло. Она выгнулась, так и не отвернувшись от племянника. Хаим выскочил из палаты, пугливым взором отметив, как сквозь ее пепельные пальцы бьют желтые струйки.

«Боже!» — прошептал в коридоре. Выхватил из брючного кармана, не вытаскивая пачки, сигарету. Попросил огонька у проходящего мимо солдата с «узи» на плече.

— Откуда?

— Из Ливана.

Прикурив, спросил:

— А что у тебя?

- Сын! Сын у меня!
- Так скоро?
- Что? — не понял солдат.
- Да нет! Я просто так...

\* \* \*

Моисей был счастливый отец...

У него была дочка шести лет. А сейчас появился и сын.

В этот раз он очень хотел сына — с той же силой хотения, как в прошлый раз, когда очень хотел дочку.

Дочку назвали Басей, по имени сестры его матери, убитой гитлеровцами в концлагере. А сейчас ему нужен был сын, чтобы назвать его Давидом, по имени деда, растерзанного заживо немецкими овчарками после неудачного побега к партизанам.

Но он уже знал: имя малышу теперь — Моисей, в честь него. Все согласно еврейской традиции.

Моисею не терпелось перенестись к своему младенцу, пускающему изо рта первые пузыри жизни. Но догадывался: за ним присматривает Хая... Язык не поворачивается произнести слово — «вдова».

Чего их беспокоить?

И он перенесся, раз выпала такая оказия, в Кирьят-Гат — за десять километров от Ашкелона. К милашке дочушке Басеньке, за которой обязалась присматривать соседка Алия Израйлевна.

Алия Израйлевна смотрела телевизор и громко цокала языком, сопереживая происходящему.

На черно-белом экране просторного, как холодильник, ящика демонстрировали врачей ашкелонской городской больницы, учинивших забастовочные санкции с последующей голодовкой медицинского персонала.

Басеньке пора спать. Но она предпочитала другое занятие. В ванне, под теплым душем, отмывала от серой пыли походный «репортер» Моисея, который обычно висел на его плече, когда он отправлялся в командировку.

Изнемогая, «маг» вел голосом ее папы какой-то путевой репортаж. Басенька в ожидании своих слов, записанных некогда на пленку, била по клавишам, будто она за роялем.

Наконец дождалась.

— Я слон! Я слон! — раздалось из магнитофона.

Басенька радостно захохотала.

\* \* \*

В коридоре, отгороженном ширмами от больных, тихо бастовали врачи. Они сгрудились у телевизора, слушали последние, касающиеся их голодовки известия и умиротворенно вздыхали.

Коридор, отгороженный ширмами, связывал хирургическое отделение с родильным.

Хаим рванул было по нему, хотя и опасался: остановят!

Нет, его не остановили. И не потому, что в эти минуты стрекотали камеры телевизионщиков. Его не остановили потому, что белые халаты делали вид, будто ничего экстраординарного в лечебном заведении не происходит. Они видели лишь телевизор, а в нем себя — голодающих перед телеоператорами из разных стран мира. И стара-

лись не замечать Хаю, дорвавшуюся почти до самого телевизора с ребенком на руках, но так и не втиснувшуюся в кадр.

— Доктор! Доктор! — шептала она, протягивая ребенка врачу. — Смотрите! С ним все в порядке? Он не подает голоса!

— Минутку! — сказал врач. — Потерпите немного. С ним все будет в порядке. А у нас санкции.

Он повернулся на стуле, уставился в экран зазывного ящика, в лицо своего коллеги, профсоюзного беса, бесстрастно излагающего требования забастовочного комитета.

— Доктор! — вспыхнула Хая.

— Потерпите немного. Голос у него прорежется, — бесстрастно ответил врач.

\* \* \*

Автомат Моисея лежал на коленях под его безвольными руками.

В далеком Бейруте.

Его тело, поникнув, подрагивало на мягком автобусном сиденье.

В далеком Бейруте.

Но дух его метался по ашкелонской больнице, от Хаи к врачу, от врача к маме Риве, от мамы Ривы к двоюродному брату Хаиму.

Хая бросилась к телефону-автомату.

Моисей подставил руки. Но так и не смог принять даже на мгновение младенца, чтобы ей было легче набирать на ускользящем от пальца диске заветные цифры. Его сына принял на руки Хаим.

— Алло! Алло! — скороговоркой произносила Хая. — Скорая помощь? Скорая, скорей сюда! Адрес? Ах, да — адрес! Записывайте! Ашкелонская городская больница! Родильное отделение!

И тут младенец, будто отказываясь от медицинской помощи, самостоятельно подал голос. Пронзительный и сильный — голос человека, вернувшегося к жизни. Почему «вернувшегося к жизни»? Потому что Моисею показалось, что это был его голос...

— Живи, малыш! — сказал он тихо, зная, что его никто уже не услышит.

... В Израиле стояло жаркое лето, рекордное по количеству родившихся израильтян.

Жаркое лето достопамятного года — время затяжной войны в Ливане и бессрочной забастовки врачей.

## 24

У входа в двухэтажный домик, облицованный ноздреватым иерусалимским камнем, красовалась медная табличка с гравировкой: «Алуф» — «Чемпион».

Николай толкнул дверь, и она мягко отворилась, слегка скрипнув. Он оказался в сонливо умолкшем салоне, прошел по шероховатой напольной плитке в смежное помещение и обнаружил там небольшой по размеру спортивный зал: ринг, боксерские мешки, пневматическая груша и роскошный, блестящий никелем агрегат для всеобщей физической подготовки «Геркулес». Приставил винтовку к стене, нахлобучил на ствол солдатское кепи и нехотя по велению мышц, ностальгически помнящих былое свое великолепие, легко побаловался на кожаном мешке, «украшенном» плакатными физиономиями давних противников — американца Джо Луиса и немца Макса Шмелинга, чемпионов мира в тяжелом весе. Повозился с полминуты, примериваясь. Попал в настрой — взорвался. Кроссом справа — по «челюсти», левой в голову. На «вздрог» придержал мешок затяжными, намеренно замедленными боковыми крюками. Выждал

долю секунды и — мощной атакой как бы «переломил исход боя в свою пользу». Правым в голову, левым боковым чуть повыше, чем надобно — спохватись, дружок на подставку! — и по солнечному сплетению. Наверняка! Выверено!

— Нокаут! Будем открывать счет?

На резком обороте, вложенном в мускулы для отзыва на неожиданное движение, Николай распознал Моню — кладбищенского знакомого.

— Счет у меня в банке открыт, — буркнул Николай, не расположенный к шутке.

Сегодня с утра, получив машину от Славика, который, доставив Ирочку домой, вернулся в поселение дослуживать, он проделал более сотни километров, безотлагательно рванув в Иерусалим, в Гило, на встречу с таинственным старичком, имеющим какие-то сведения об его отце. И, чувствуя определенную усталость от преследующего его нетерпения и желания поскорее узнать правду, не был склонен к бессодержательной болтовне, свойственной людям пожилого возраста.

Но Моне было тяжело в суровом одиночестве, и он втягивал Николая в пустопорожний, по всей видимости, разговор.

— Неплохо, еще молодой человек. Неплохо...

— Что — «неплохо»?

Николай массировал костяшки ударного кулака.

«Кожа содрана с непривычки — отвык, мудак!»

— Отвык! Отвык! — угадал его мысли Моня. — А вы боксер, еще молодой человек.

— Простите, а вы Колумб?

— Не понял!

— Зачем делать вид, что открываешь Америку?

— Внешний вид — визитная карточка, еще молодой человек.

— Тогда... — Николай представился: — Чемпион студенческой спартакиады Ленинградского госуниверситета. В прошлом.

— Позвольте и мне доложить о себе, — старенький крепыш Моня сжал пальцы в кулак, вскинул над головой руку — в знак победы — и провозгласил: — Чемпион Олимпийских игр 1936 года в наилегчайшем весе Вилли Кайзер!

— Это — что? Той? Гитлеровской олимпиады? В Германии?

— Той самой, предвоенной, еще молодой человек.

— А ты не сумасшедший, дядя?

— Мы опять будем зваться на «ты»?

— В Израиле по-другому не бывает!

— Хорошо. Я вам и на «ты» скажу — не секрет. Я не сумасшедший!

— Тогда сумасшедший я. Но это ничего не меняет, так как на Берлинской Олимпиаде русские не участвовали.

— Израильяне тоже не участвовали.

— Не было тогда еще Израиля! Забыл, дядя?

— Израиля не было. А я, Моня с Молдаванки, был. И представлял — кого? Правильно, еще молодой человек. Германию.

Николай постучал пальцем по лбу. И тоскливо подумал, что прибыл не по адресу.

— И мозги никто тебе не высыпал на ринг?

— Даже король чемпионов Максик Шмелинг! — заметил старичок, выглядевший в приталенной рубашке, спортивных брюках и тапочках жилистым, крепеньким, буд-то не к семидесяти вплотную придвинулся, а застрял где-то на полпути, разменяв всего-навсего полтинник.

— Он тебя одной левой! — возмутился Николай беспардонному вранью.

— Я с Максимом ходил в товарищах. На тренировках спарринговал с ним, готовил к боям с Джо Луисом. Да не смотри на меня так! Не на удар с ним работал. На скорость.

— Но ведь он! Нацист! Он же с фашистами!  
— А я, еще молодой человек?  
— Гитлер его называл — «любимцем нации, стопроцентным арийцем».  
— Я тоже был «белокурой бестией».  
— Ну? — насупился Николай, понимая, что его все дальше и дальше уведут от обещанного разговора и делают это сознательно, не по причине дряхлости и неуправляемости сознания.

Древний Моня с Молдаванки добродушно улыбался.

— Прошу учесть и запомнить. Не фашист он! В годы войны Шмелинг прятал у себя дома евреев. Да-да! Взрослых и детей. От поголовного уничтожения! Я сам ему поставлял тех, за кем охотились нацисты. А ты говоришь — «Шмелинг!», «Шмелинг!».

— Ничего я не говорю!

— В этом случае послушай меня. Я знаю, что говорю за Шмелинга.

— Простите, — снова перешел на «вы» Николай. — Мне некогда, Моня. Или вы уже Вилли?

— Монус Вилли Кайзер. Чемпион...

— Хорошо, чемпион. Я проверю по справочнику, был ли Моня с Молдаванки чемпионом Берлинской Олимпиады.

— Моня — не был. Вилли был, — уточнил старый боксер.

— Проверю, проверю. Это недолго. И — если захотите — напишу о вас очерк. Правда, не знаю, под каким соусом его подавать.

— Не подавайте его под соусом. Время еще не пришло. Пусть там остается Вилли Кайзер, а здесь пусть живет Моня с Молдаванки.

— Ох, что вы мне вешаете лапшу на уши? Как это Моня с Молдаванки мог попасть в Берлин 1936 года?

— Он попал в Берлин 1923 года, — невозмутимо ответил старичок. — И было ему всего десять лет. А вот папе его...

— Постойте, дядя! Что-то не разберусь с вами. Кто вы, наконец, по национальности? Еврей или немец?

— Хотел бы я видеть своими глазами немца, который живет на улице Средней.

— Мои тоже жили на Средней.

— Вербовский?

— Вербовский.

— Во-во! Я еврей. Не извольте беспокоиться. Но хочу вам сказать, что в 1923 году на нашей родине в Одессе имели свойство умирать от голода не только украинцы, русские, евреи и среди них ваш горячо любимый дедушка Шимон Вербовский.

— Я его никогда не видел! Вы были знакомы?

— Были. Но я вам доложу о другом. В 1923-м в Одессе немцы тоже не были исключением для повального голода. Только умирали они по другому адресу, не на улице Средней, не на Разумовской, а в своем Люстдорфе.

— Какое отношение к этому имеет вы?

— Я не имею к этому отношение. Я не Ленин.

— Вы не Ленин, я не Сталин, а они умирали... Что дальше?

— Дальше все просто. Они умирали, а мы... мои родители получили немецкие документы на семью. Из рук НКВД.

— И?

— И под видом немцев репатриировались, еще молодой человек, на «свою» историческую родину в Германию, как вы сегодня в Израиль.

— Выходит, вы с десяти лет на разведку работали?

— Может быть, ради разведки меня и сделали. Я знаю? Спросите это с моих родителей. Но вы с них уже ничего не спросите — слишком вы еще молодой человек.

— Ладно, оставим в покое ваших родителей. Мне позвонили с радио, сказали, что здесь я получу какую-то информацию о судьбе моего отца.

— Вербовский?

— Я уже представлялся. Вербовский.

— Кто не знал в Одессе Мусю Вербовского с улицы Средней? Кто не знал всю его мишпаху — папу Шимона, братьев Аврума и Боруха? Кто не знал? Назовите мне такого шмендрика, и я плюну в его бесстыжие глаза. Но вы мне такого не назовете.

— Информация, дядя!

— Вашего папу Мусю Вербовского я знал с детства. Когда он шел по улице в длинной артиллерийской шинели, я отдавал ему честь. Я был еще совсем маленький, но честь уже отдавал старшим. Двумя пальцами, как это делали французы, когда они пришли на постой к нам в Одессу.

— Это в каком году?

— Французы?

— Я о папе.

— Вашему папе я отдавал честь после Гражданской. Он пришел с фронта и ходил по улице Средней в длинной шинели с красным бантом. И все свободные от мужа девахи на него заглядывались. Но он заглядывался в сторону от них.

— И женился на моей маме.

— Да, он женился на вашей маме, еще молодой человек. Но ваша мама приходилась мне в ту пору старшей сестрой, и поэтому теперь вы носите в груди ее доброе сердце, чтобы вы жили до ста двадцати лет.

— Позвольте! Но ваша фамилия Кайзер, а мамина...

— Я Кайзер по немецким документам, взятым в Люстдорфе. А по своей настоящей фамилии я совсем как ваша мама. Но фамилию мне еще нельзя разглашать.

«Полностью рехнулся! Родным дядей прикидывается, а мамину фамилию ему, видите ли, нельзя разглашать! Будто я не знаю фамилии мамы». И тут Николай поймал себя на том, что никогда и не слыхивал ее девичьей фамилии. Ни от отца. Ни от его младшего брата Боруха. Мама умерла при родах — это знал. А кто она? Из какой семьи? Об этом ни слова. Даже свидетельства о заключении брака никогда не видел.

Какая-то внезапная злость охватила Николая, будто шел он, шел по берегу к морю, но вместо того, чтобы вступить в прохладную воду, провалился в горячий, выжигающий мозг и разум зыбучий песок — не выкарабкаться!

Он сжал кулаки. Перекрылся плечом. И вдруг услышал, совсем уже некстати, словно в затертом довоенном году немецкую речь, причем с характерной для папы интонацией.

— А что я говорил? Боксер! Вы достойный противник — ein würdiger Gegner.

И Моня с Молдаванки пошел к Николаю ползущим боксерским шагом, принимая боевую стойку.

Николай, более старый для бокса, чем Моня для жизни, не сдержался — насмешливо поаплодировал.

— Дядя, если вы и впрямь мой дядя, успокойтесь! Вам пристало думать об инфаркте, а вы о шалостях на больную голову. Недоглядите моего кулака и кувырнетесь туда, где Трайгер.

— И ваша жена, еще молодой человек.

— Что?

— Я знаю, что говорю за Трайгера. Напишите о нем книжку.

— Поищите кого другого.



— Напишите! — Моня помедлил чуть-чуть, помассировал по боксерской привычке суставом большого пальца нос. — А еще я знаю, что говорю за вашу жену... Трайгер, доложу вам, не возвращается, а ваша жена...

— Подглядывали?

— Я за вами проследил, еще молодой человек. Покажите мне такого второго, кто пришел на кладбище, чтобы посидеть без дела на травке. Я проследил за вами и услышал, что вы стали настоящий сомнамбула. Разговариваете сами с собой, будто одна половина у вас живая, а другая мертвая. Человека надо разбудить, — понял я. — Иначе он потеряет всю свою жизнь на пустые хождения по кладбищу.

И старенький Моня, этот ртутью налитый живчик, скользнул, ловко меняя стойку, мимо Николая. Легким тычком — по скуле, и тут же, когда «противник» инстинктивно приподнял руку для защиты, нанес хлесткий удар по печени.

— Я в двух стойках работаю, — заметил хвастливо.

Это его и погубило. Николай, не отойдя от вспышки боли, засадил ему апперкотом по солнечному сплетению. И дядя Моня завалился на канаты ринга.

— Воды... Воды... — прошептал он, оседая на пол.

— Где?

— На втором этаже, в кабинете.

Нет чтобы подумать о дурости происходящего: кто из глубин нокаута способен ворочать языком? Нет чтобы просто прикинуть: а не провокацию ли ему учинили? Нет, нет и нет! В мозгу сверлило: «Эх, повернуть бы время назад! Хоть на десять секунд!»

Но в боксе, как и в истории, не изыскать сослагательного наклонения.

Николай поискал глазами аптечку. Вспомнил Монины наставления: «второй этаж, кабинет». И побежал к лестнице, с опозданием подумав: надо бы амбуланс вызвать.

На втором этаже особнячка сначала попал в спальню с неприбранной постелью, потом в кабинет, более похожий на продовольственный склад, набитый консервными банками с тушенкой, рыбой в оливковом масле, вареной фасолью, компотами.

«Вот пуля пролетела — и ага! Наголодался в двадцать третьем на сто лет вперед!»

При виде залежей консервов Моня стал гораздо доступнее. В воображении Николая он сразу же переместился из диковатого, надо признаться, Штирлица в хорошо знакомого по встречам в Израиле «маленького человека из гетто». Наголодавшийся в прошлом до невозможности, этот человек, как Плюшкин, обставляет себя запасами продовольствия, чтобы хватило на всю оставшуюся жизнь.

«Где же здесь вода? Ах, вот бутылка на письменном столе. Смотри-смотри, книги на немецком. Рукопись... Мда, тоже на немецком. Хотя... если немецкий — родной для Мони язык... после родительского, вывезенного из Одессы, — тогда оно так и должно быть... А это... что?»

— Что? — чуть ли не в бессознательном состоянии вскрикнул Николай.

На подставочке, прямо у старинной, под мрамор, чернильницы, похожей на саркофаг, стояла черно-белая фотография: на ней был изображен его отец Моисей Вербовский — кожаный плащ, шляпа, узнаваемая родинка под левым глазом, а рядом Моня с Молдаванки в немецкой офицерской форме.

— Папа! — выдохнул Николай.

Он вырвал фотографию из подставочки и бросился вниз.

Моня ожидал его, хитро посверкивая глазами. Он сидел за тонконогим судейским столиком, напротив ринга, у медного гонга и хитро ухмылялся, давая понять, что никакого «нокаута» на самом деле не было.

— Время пошло, — сказал старый боксер и стукнул молоточком по звучному диску. — Садитесь сюда, поближе, по-родственному, — указал на стул.

- Вода...
- Воду оставьте себе, — отодвинул Мونها бутылку. — Вот вы смотрите на меня и думаете...
- Ничего я уже не думаю, — смущенно отозвался Николай, положив перед собой фотографию..
- Думаете! Эх, вы! С такой светлой головой и такие глупости, что я мог за вами подглядывать. Не так ли?
- Так!
- Выбросьте ваших глупостей из головы! Думайте о другом. О том, что из вас я могу сделать чемпиона мира среди профессионалов. У вас классный удар, как у Максика Шмелинга.
- Опять этот Максик под сто килограмм весом? Давайте о папе...
- Будет и о папе. Время пошло, — и он снова ударил молоточком по медному диску.
- Второй раунд?
- Второй.
- С кем сейчас?
- Сейчас с Гитлером.
- А о папе вам нечего мне сообщить?
- Сначала о Гитлере... Вы, надеюсь, без магнитофона?
- Не доверяете?
- Я и себе не доверяю, потому что сам работал на чужую разведку. — Мونها откупорил бутылку с газировкой, плеснул в стакан. — А вы пейте, пейте! Лишнего веса не прибавится. Вода...
- Конечно же, калории у вас запрятаны по консервам.
- Э, калории! Прикиньте умом, консервы для конспирации, чтобы между них легче спрятать банки с разгадкой тайны Гитлера. Какой? Воевали с ним и не знаете его тайны?
- Папа имеет к этому отношение?
- И папа ваш, и я, и Теодор Моррель — личный врач Гитлера. Подождите меня, я сейчас...
- Мونها прошел на кухню, вернулся с початой бутылкой коньяка, двумя стопками, батоном колбасы под мышкой, ножом и консервной банкой.
- Поставил все свои богатства на стол, почмокал по-старчески, нарезая колбасу, наполнил стаканчики духовитым напитком.
- Вспомянем папу! — сказал Николай.
- Вспомянем! — Мونها снова ударил в гонг. — Ваш папа из-за этих консервов и пострадал. Вывез их после победы в Москву — для Сталина. А там его в ДОПР, и сиди, пока не реабилитировали, чтобы на свободу с чистой совестью.
- Опять вас, Мونها, понесло, — недовольно покривился Николай.
- Куда? Адрес имеется?
- Николай крутанул указательным пальцем у виска.
- Понятно?
- Выпейте еще одну, не помешает, — сдвинулись стаканчиками, обронили тусклый звон. — Каждый раз, как вам покажется, что я сумасшедший, — выпивайте. Но помните, и у сумасшедших своя логика.
- Оно и видно!
- Мونها вновь ударил по медному диску.
- Четвертый раунд! Время пошло...
- Опять вас, дядя, понесло! Где вы нашли четвертый раунд? Раундов — всего три в наличии, пора знать, чемпион!

— А я вас, Коля, собираюсь готовить в чемпионы мира среди профессионалов. У них до пятнадцати раундов доходит. И без ограничения возраста. Кстати, вы знаете — какой у вас возраст.

— Обычный. Пятьдесят шесть.

— Не в полном смысле обычный, а такой, как у Гитлера перед штурмом Рейхстага.

— Бросьте со своими намеками!

— Вам ничего не грозит, Коля. А Гитлер... Вот тут-то, в его возрасте, и тайна зарыта. Николай налил себе добавки.

— Вам показалось?

— Ну?

— Гитлер, послушайте старика, был в сорок третьем, как огурчик. Сил и амбиций — через край. Он ставил на Курскую битву и уверял всех в победе. А уже в сорок пятом превратился в ходячий труп. Что за приключение для организма? Не знаете? Так знайте. Я вам открою маленький секрет.

Моня затих в выигрышной паузе, скорчил загадочную физиономию. Потом, будто бы совсем и не по делу, взял консервную банку с тушенкой и с той же загадочностью в голосе спросил:

— Открыть?

Николай пожал плечами.

Моня щелкнул ногтем по жестянке.

— Э-э, здесь не закуска. Здесь тайна смерти Гитлера, еще молодой человек.

Николай поспешно выпил и снова наполнил стаканчик коньяком.

— Нам на закус ничего не требуется.

— В этом случае слушайте дальше! Гитлер ставил на сорок третий год. А сил уже не было прежних. И он потребовал у личного своего врача Морреля пилюлю, вывезенную с Тибета, с Шамбалы... Вы вообще, Коля, представляете себе, где Тибет и где посреди него Шамбала?

— Шамбалы нет в природе! Все это выдумки!

— Вы не верите Рериху? Не верите Блаватской?

— Понимаю, сейчас последует: Шамбалы не было, а Моня с Молдаванки там был.

— Не Моня, а Вилли Кайзер! — недовольно сказал старичок. — Мне по наивности представляется, что вы даже не слышали о немецкой экспедиции на Тибет 1939 года.

— И слышал, и читал в газетах.

— В советских?

— У нас в России других не было.

— Представляю, какая каша у вас в голове.

— Почему же каша? Экспедиция была организована секретным институтом Анен-эрбе, под непосредственным покровительством Гитлера и рейхсфюрера СС Гимmlера. Однако высокое покровительство не помогло. Никакой Шамбалы экспедиция не отыскала. Так ведь?

— Так... По советской версии так.

— А по вашей?

— У меня не версия.

— Я жду.

— Да будет вам известно, благодаря тому же высокому покровительству Гитлера и Гимmlера... — Моня сделал паузу, пододвинул к себе банку с тушенкой, взял консервный нож и заученно продолжал, будто готовился к этому признанию заранее: — Да будет вам известно, нас, чемпионов, любимцев нации, ввели после Берлинской Олимпиады в элитный отряд специального назначения. Некоторые, как, например, я, пре-

вратились в личных посланников Гитлера, и не только на Тибете. Считалось, что Шамбала — центр мира и в этом центре скрыт источник жизни. По научному — субстанция, дающая жизнь всему существу на земле. Нам повезло. Мы добрались до секретной пещеры и вывезли в Германию заветные пилюли. В каждой сконцентрирована энергия сорока лет человеческой жизни. Период действия — ровно один год. Вот так, еще молодой человек! А вы — «советские газеты»! Всей в них правды на две копейки! Не открыть ли нам баночку?

— Оставьте такой закус себе!

— Я не Гитлер. Это он поставил на «пилюлю жизни». И что? А то, что ее действие кончилось в сорок пятом, и фюрер превратился в дохлятину — живой труп.

— Кто же ему помешал принять вторую дозу?

— Я, еще молодой человек. Я, Моня с Молдаванки, в ту пору приставленный абвером к доктору Моррелю, чтобы он не поживился за счет этого невероятного лекарства.

— Интересно, как же вы ему помешали?

— Я выкрал пилюли.

— О, Одесса-мама, узнаю твоих героев!

— Нет-нет, вы неправильно поняли. Я не совсем украл. Я просто заменил настоящие на похожие по цвету и качеству — такие, что придают бодрости, но не жизни. А настоящие «пилюли жизни» ваш папа — благословенна его память! — отвез в Москву. Сталину.

— Все?

Моня постукал костистым пальцем себя по лбу.

— Коля! Образованный человек, и такие мысли из начальной школы для придурков с рождения. Какой еврей не подумает за «черный день»? А что? — загорячился Моня, будто ему кто-то возражал. — Имейте в виду, когда идешь на прием к товарищу Сталину, надо иногда думать и за «черный день». Ваш папа был умный человек — он думал. И я не шлемазл. Я тоже думал: «тебе половина, и мне половина», когда отправлял Мусю за высокие стены — в Кремль.

— Опять вешаете лапшу на уши, милейший! Так моего папу и допустили к Сталину! «Здравствуйте, товарищ Вербовский, как я рад, что вы живой!»

— Вы еще не поняли, кого допустили к Сталину? Да, согласен, к Сталину на randevу ехал ваш папа Моисей Шимонович Вербовский. А приехал — возьмите в голову! — совсем другой человек, при чужом, обратите внимание, паспорте. К Сталину допустили не товарища Вербовского, а господина Трайгера, представителя Красного Креста из Швейцарии. Агентурное имя — «Муся», завербован советской разведкой в 1941 году.

— Трайгер?

— Трайгер! Теперь вы, надеюсь, понимаете, о ком я прошу написать книжку.

— Теперь понимаю.

— Может быть, вам в этом случае будет заодно интересно узнать, кто вербовал вашего папу?

— Догадываюсь. Вы?

— Собственной персоной!

— Но вы же его знали с детства!

— Поэтому, признаюсь вам честно, мне и не надо было его вербовать. Зачем вербовать человека, когда он и без того Вербовский? Просто мы с ним случайно стыкнулись. Он попал в окружение, а потом в лагерь. Там говорил по-немецки, и его приняли за фольксдойча. Я прибыл в этот лагерь, чтобы подыскать абверу надежных людей для работы в советском тылу. Случайная встреча и... Словом, ваш папа превратился в Трайгера. И стал большим человеком в «Красной капелле». И принес немцам вреда на целую дивизию отборных войск. А потом повез в подарок Сталину «пилюли жизни».

- Но Сталин...
- Правильно, Сталин хотел жить вечно и медленно, а не год — за сорок. Но этого он вашему папе не сообщил. Он был скрытный человек. Поэтому сначала, для отвода глаз, наградил Мусю орденом Ленина, а затем отправил за решетку. И сдал в архив «пилюли жизни» из Шамбалы, чтобы никто их уже не кушал.
- А Моня с Молдаванки?
- Открою вам маленький секрет. Моня с Молдаванки и тогда не был глупый шейгец — мальчик. Ума в его мозгах хватало, чтобы видеть: никакой Гитлер не живет вечно, и никакой Сталин не составит ему конкуренцию в этом жизненном вопросе. А что будет существовать вечно, так это «пилюли жизни» из Шамбалы. Их ничего не берет, ни годы, ни климат. Главное, чтобы в нужное время они оказались в нужном месте.
- Здесь? — Николай взял в руки запаянную консервную банку.
- Здесь... там... — Моня указал на потолок. — Хотите попробовать?
- И много их у вас?
- На наш век хватит.